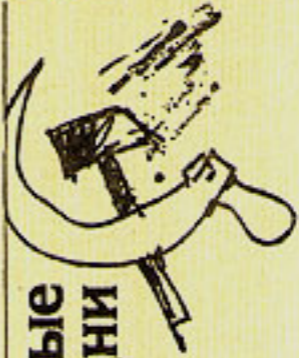


Иван

БУНИН

Окаянные
дни



Возвращение

Окаянные дни // Молодая гвардия, 1991

ISBN: 5-235-01771-4

FB2: "fb2design", 27 May 2011, version 2.0

UUID: 5DF0D85E-E853-484C-BF07-A9C3FCF82D28

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Окаянные дни (сборник)

Признанный классик русской литературы и ее первый нобелевский лауреат (1933), прозаик, поэт, переводчик Иван Алексеевич Бунин раньше двух писателей-эмигрантов получил безусловное признание на Родине.

В книгу входят: дневник писателя «Окаянные дни», циклы рассказов «Под Серпом и Молотом» и «Неизвестные рассказы», неизвестные советскому читателю стихотворения и «Воспоминания» И.А. Бунина — портреты его современников. Впервые публикуется речь И. Бунина «Миссия русской эмиграции».

Книга содержит вступительную статью Олега Михайлова «Неизвестный Бунин».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Олег Михайлов. Неизвестный Бунин	0006
Окаянные дни	0007
Москва, 1918 г	0007
Одесса, 1919 г	0061
Под серпом и молотом	0236
Из записок неизвестного	0236
Андре Шенье	0282
Камилл Демулен	0292
Товарищ дозорный	0304
Notre-Dame de la Garde	0316
Илюшка	0326
Русь	0329
Неизвестные рассказы	0332
На извозчике	0332
Москва	0344
«Знакомый старик идет навстречу...»	0345
«Спят в одной комнате брат и сестра...» . .	0345
Au Secours!	0346
Письма	0347
Мария Стюарт	0348
Кибитка	0350
В канаву!	0352
Воспоминания	0354
Автобиографические заметки	0354
Волошин	0430

Горький	0454
Маяковский	0471
«Третий Толстой»	0487
Гегель, фрак, метель	0539
Стихотворения	0559
Миссия русской эмиграции	0560

Иван Алексеевич Бунин
Окаянные дни

Олег Михайлов. Неизвестный Бунин

[Текст отсутствует]

Окаянные дни

Москва, 1918 г

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...

Бодро с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

— Нынче опять такая же встреча, — Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

— Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании «Книгоиздательства писателей», — огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левеет, «почти уже форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура — патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямоотой суждений, был в мягкой рубаше без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

*Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клоч его, —
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.*

6 февраля.

В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежесбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и неважно вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, должныствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-

вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избияния арестованных при допросе в Совете Рабо-

чих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходов и действий...» Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

— Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

— Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

— Если кто совершит кражу, или кто примет краденое, то лишить жизни.

— Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два

вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропоролы вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

— Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят! Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

— Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

7 февраля.

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» — Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был аре-

стован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровожден в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оребеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синее ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот что-й-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и,

покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалит, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от

злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да Вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять... Вы сами должны понять...

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете...

Приехал Д. — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Как-

го-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на

щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, — почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь...

Жены всех этих с.с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

10 февраля.

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

*Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шалый пес?*

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

*Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И как Мамай всю Русь пройдет...*

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер —

что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотом отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоеывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более ни менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видел.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот, немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь! Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальством, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками — цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

— Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень

разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

— Москва, брат, теперь ни... не стоит.

— Теперь и провинция ни... не стоит.

— Ну, вот немец придет, наведет порядок.

— Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

— А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах...

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

— Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, — может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов — «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призвала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние ча-

сы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

— Да вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский — киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской — главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина... С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью.

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, за-

метки, — пора готовиться на юг, — и как раз нахожу кое-какие доказательства своего «дееспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

— Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, — медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется... Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 года в Васильевском:

— Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь, исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то

есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндеवेशей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, — ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стучающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в

угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стучалась Махоточка по ухабам.

17 февраля.

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

— Не представляю себе, — говорил А. А. Яблоновский, — не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца, — в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: мир подписан!

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия», и что оттуда твердый от-

вет: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

18 февраля.

Утром собрание в «Книгоиздательстве Писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, — он уже какой-то комиссар, — ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

— Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

— Не беспокойтесь, — ответил он с мутной усмешкой, — порядочно...

По городу общий голос:

— Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать...

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля.

Коган рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест трэфного, свято чтит субботу... Затем о Блоке: он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

— Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение:

— Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим!

— Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

— Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто

лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем, имеющим конячую голову.

— Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

— Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

— Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

— Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая — в контрреволю-

цию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля.

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком, солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами — сияя даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса... Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства — они...

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

— Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуюшь — вонь, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо

глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой маньчжурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь; громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, взлезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что

только что слышал, будто Кремль минируют, хотя взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов... Великие князья, терема, Спасна-Бору, Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятное! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко; все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

21 февраля.

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям «Русских Ведомостей», в Петербург едет немецкая комиссия — для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая

полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении.

22 февраля.

Утром горестная работа: отбираем книги — что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из «Власти Народа» передавали «самые верные сведения»: Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается... Вообще черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально — печален; карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках, все трепал

по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то «эмиссар».

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то поновому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны...

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

23 февраля.

Опять стали выходить «буржуазные газеты» — с большими пустыми местами.

Встретил К. «Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников». Да, все то же. И все то же тревожное,

нудное, не разрешающееся ожидание.

Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубаше, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

— Ну, что ж скажете, господа, хорошенького?

— Да что скажешь. Все плохо.

— А что ж, по-вашему, дальше будет?

— А Бог знает, — сказал курчавый. — мы народ темный. Что мы знаем? Я хучь читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберет-

ся, а нас сколько миллионов и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили.

— Там жиды все, — сказал черный.

— И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий — энтото давно убили, настоящего-то.

— А про мир с немцами что вы думаете?

— Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал...

24 февраля.

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. — Везде грабеж!

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж...

В доме напротив нас молебствие, принес-

ли икону «Нечаянной Радости», поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, «формируют правительство».

Звонит на станцию «Власть Народа»: дайте 60–42. Соединяют. Но телефон, оказывается, занят — и «Власть Народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

— У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

— Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевистский «Совет» их весьма боится; глава — Бармаш, вполне сумасшедший кавказец.

В Севастополе «атаман» матросов — некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; «нежнейшей души человек».

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов».

25 февраля.

Юрка Саблин, — командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэкуоку, конфектно — хорошенький...

Слух: союзники — теперь уж союзники! — вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

— Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжни-

ков клейма: «Save furem». На эти лица ничего не надо ставить, — и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

26 февраля.

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний Час», читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

— Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции «Русских Ведомостей»: Троцкий — немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка, по злобе на Троцкого.

27 февраля.

Опять праздник, — годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надо-едает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь

день сам собой звонит, не умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

«Разбегаются! Карахан назначен послом в Константинополь, Каменев — в Берлин...»

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая, то интернационал, то «русский национальный подъем».

28 февраля.

Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят.

Вести со Сретенки — немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит — трещит, звенит и сыплет красные огненные искры!

1 марта.

Вечер у Ш.

Идя к нему, видели адвоката Т. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что

большевики заняты сейчас одним: «награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец».

У Ш., кроме нас, Д. и Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат:

«Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места — мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично пожить. Я их послал куда подалье, я честный человек...»

Д. получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Г. возражал: напротив, оно крепнет и растет. Д. прибавил: «Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия...» Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христоролюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Повар от Яра говорил мне, что у него отня-

ли все, что он нажил за тридцать лет тяжкого труда, стоя у плиты, среди девяностоградусной жары. «А Орлов-Давыдов, — прибавил он, — прислал своим мужикам телеграмму, — я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку, — на розги, — и елку, чтобы было на чем вас вешать».

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

— Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, — пускай, мол, придет немец, черт с ним, — а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь «серьезным», живо бы эта «стихийность

великой русской революции» присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь — и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улицам было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.

2 марта.

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в

гнусливейшем кабаке кака-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянт, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, — большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра...

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»).

Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чувствует, не понимает, напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!» «Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это «...»!

Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

3 марта.

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

5 марта.

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу — умные люди выбирают

деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете — о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

— Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

7 марта.

В городе говорят:

— Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

— Как думаешь, правда?

Вздыхает:

— Все может быть, все может быть.

— И ужели народ допустит?

— Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владали, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять гово-

рит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты и б...и.

8 марта.

К. П. про Спиридонову:

— Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала...

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то «правительственными» учреждениями, мебель новую, конторскую...

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

«Поношение сокрушило сердце мое...»

9 марта.

Нынче В. В. В. — он в длинных сапогах, в поддевке на меху, — все еще играет в «земгусара», — понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

— Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна...

Я ответил:

— Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

11 марта.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

— Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других...

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, — физически.

Вечером у Б. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. «Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь — персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!» Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, — какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в «Книгоиздательстве писателей», и Гонтарев рассказывал, как Ш. битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием.

Грузинский сказал:

— Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

12 марта.

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

— Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания — Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются», якобы, с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтов-

ками, после того, как получил пропуск от большевистского «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

— Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести и вдруг такой неожиданный успех!

13 марта.

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е. П. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролубов. Этот все превозносил русский народ, то

есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

— Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ — народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего...

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много, много рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в «Новую Жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели...

15 марта.

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты «Русские Ведомости» — из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати» Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» — «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, по минутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидел грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые

облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

23 марта.

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет Из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор — и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышинные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще «старый режим».

«Кабак» Премирова. Несомненно талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художественном Театре опять «На Дне». Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевицкая газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. «Инструктор» кричит: «Смирно, товарищи!»

Газетчик, бывший солдат:

— Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-Богу, барин, глянь-те — вот один под ручку с своей шкурой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено — великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта.

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте

на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до тысячи рублей за пуд, что надо делать запасы... Говорим — и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. «Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет».

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

Одесса, 1919 г

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели со дня нашей гибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Аня (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» — «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». — «Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, фран-

цузские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом... А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция...»

Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

— Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на

европейский лад, появился «министр почт и телеграфов». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» — Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых адми-

нистративных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, — непременно почему-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании...» Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

— Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устройению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит

оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» — Вечная сказка про красного бычка.

— Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное — совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно — напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

13 апреля.

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по

украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань, Царицын... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля.

Десять месяцев тому назад ко мне прихо-

дил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «каждый вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт, — по всему видно, что сыт, — и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городских. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад доброволь-

цев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойни-

ки!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

— Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодьям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие о «глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

— «Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

— Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литерату-

рой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, — словом вся и всех, за исключением какого-то «народа», — «безлошадного», конечно, — «молодежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых...»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошло с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

— «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

— «Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

— «Утешься ради скорби всего Иерусалима!» До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

— С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую людей», записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для ме-

ня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзаж», — словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрировано окал, на нижегородский

лад): «Нонче, ребята, айдате на п'яццу: там, дьявол их заberi, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, — вся, понимаете, п'яцца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопо-чтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок... Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни...» И на зеленых глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет — не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только Кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: копят самодельные ка-

ганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче — крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» — «Правильно, верно!» — «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» — «Мало, мало!»

— «Левые» все «эксцессы» революции валют на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на

соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жидаы на все это дело подбили...»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Чер-

новицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коем можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи приюты, там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской

культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

— Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!

— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики...

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжелых и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричка-

ми и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощены в грузовике — говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к теля-

чьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животнo-первобытных губах.

— «Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника...» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, — высокопарно-площадной жаргон, — все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо

так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

— Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе...

Какая у всех свирепая жажда их гибели!

Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того

невероятного напряжения, с которым про-
сишь об их гибели, и за тысячу верст, в
ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю
свою душу к родным и близким, свой страх за
них, свою любовь к ним, свою муку, да сохра-
нит и спасет их Господь, — и вдруг вскакива-
ешь среди ночи с бешено заколотившимся
сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то
совсем близко, точно каменный град по кры-
шам, — вот оно, что-то таки случилось, кто-
то, может быть, напал на город — и конец,
крах этой проклятой жизни! А наутро опять
отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к га-
зетам, — нет, ничего не случилось, все тот же
наглый и твердый крик, все новые «победы».
Светит солнце, идут люди, стоят у лавок оче-
реди... и опять тупость, безнадежность, опять
впереди пустой долгий день, да нет, не день, а
дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! За-
чем жить, для чего? Зачем делать что-ни-
будь? В этом мире, в их мире, в мире поголов-
ного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой
будут потом сто лет писать». Да мне-то какое
утешение от этого? Что мне до того времени,

когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, — теперь-то я уж знаю ей цену!

— Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть суцая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, — и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!», — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да бы-

ла и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманнными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманнными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

— Как мы ввали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь

Вольно-Экономическое общество. Мне Скаби-
чевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет
рожь. То есть, может, и видел, да не обратил
внимания.

А мужика, как отдельного человека, он ви-
дел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правитель-
ство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народ-
ных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и пи-
сать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажа-
ли их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем подда-

кивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патристическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности бы-

ли дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все

за тебя сделает: стоит только выйти на крыльечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

— Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

«Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии, — в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно — глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, — с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем — «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе...»

В «Известиях», — ох, какое проклятое правопписание! — после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статья о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и наконец гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев». — Счастливейший день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь,

дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)...

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, — «сбор» одежды и обуви.

— Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт?!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняку, бесчувственности. «Как? Семь повешен-

ных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а по-пробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

— В три часа, — все время шел дождь, — выходили. Встретили Полевицкую с мужем. — «Ужасно ищу роль для себя в мистереии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже мой. Боже мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно...

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

— Сейчас (8 часов вечера, а по-«советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратись с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягост-

ная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового», тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

— Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое оча-

рование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке — масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, — так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств! Какое самообладание У лошадей простого звания, Не обращающих внимания На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шуточные стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, — идейно, — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: — «Ну будет, будет, Бог с тобой» — спрашиваю: — «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... Завидую...

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: гусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

— Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длЯщемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

— Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чте-

ние в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Или-или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандармы — «мундиры небесного цвета». Кстати, о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в «Русских Ведомостях» в защиту Раковского!

— По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными

девками, — мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаиностическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,

Куда котишься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная армия», и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

— «Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощается, — «все

это только эксцессы».

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, — родина, родные колоды и могилы, матери, отцы, сестры, — «эксцессов», конечно, быть не должно.

— «Революция — стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры...» Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы. Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.

«Разложение белых...»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

— В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

23 апреля.

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам — и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно: «Колчаку Волги не видать!» Затем: образовалось «Временное Рабоче-Кре-

стьянское Правительство» Бессарабии, Нансен просит «Совет Четырех» о хлебе для России, где «ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч». Абрашка-Гармонист (Регинин из «Биржевки») продолжает забавлять красноармейцев: «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак», «в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике», болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции», — так буквально и сказано! — в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а «блокада продолжается, французы останавливают даже парусники...». Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар, смотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что, в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами, миноносец может начать стрелять... что если он уйдет, уж всему конец, полный ужас, полная пустота мира...

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил

этого морского комиссара Немица, — «он видит и верит, что идет объединение и строительство России». Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, «большевистского» нажима на воображение читателя.

— Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Рос-

сию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой вой-

ны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противостественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не

знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гуля-

щей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладостями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон

несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколо-

чены в гробы почему-то красные и противостоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромных прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором

происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодви-

нулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулака-

ми по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бриг-того моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настезь — и крепостные ворота, и собор-

ные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплеывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

— «Разочарования, — говорит Герцен, — мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

— Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум

мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что ж, казенную шапку, ка-

зенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдери с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик.

Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля.

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

— Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объ-

являющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т. д.

Статья Троцкого «о необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради гибели «проклятого прошлого» готовы на гибель хоть половины русского народа.

— В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся...

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

— Простить себе не могу, что упустил Кол-

чака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слышал.

— Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

— Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывал вчера Н. Н.):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

— Из «Известий»:

«Крестьяне говорят: дайте нам коммуны, лишь бы избавьте нас от кадетов...»

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным

дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

— Не зарись, Деникин, на чужую землю! «Не зарись» должно обозначать «не зарься».

— По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

— Подумать только: надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антерисуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о

том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямба и хореем, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клетчатой чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Северного, «кристальная душа», по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, — всего несколько дней тому назад, — «в гостиной одной хорошенькой женщины».

— Анюта говорит:

— Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного — толстомордого, коротконого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья

поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

— Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две страницы, — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот искусство всякий,

кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

— Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, вырождков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык.

Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы — и каждое десятилетие определили его литературным героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров... Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет,

другому девятнадцать, третьему самому старшему двадцать!

— Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорил речь:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и «предупреждение». «В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Да, да — «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость?

Вот дожили, — даже кости дивишься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка: «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекс-

пира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной — те, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля.

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стучало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меняхватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страха; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегаёт по все-

му дому, умоляя исполнять декреты, — умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебываются перед этим босяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

— Когда дописывал предыдущие слова — стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил — опять ко-

миссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, — вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвление головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, — и как все странно, некстати теперь!

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году

(в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерibasовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

— А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, — он отца родного угробит!

Все так, но есть несомненно и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что

(как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубаше под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает — студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом молится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона текут потоки крови. Подпись: Мы кровью народной залитые троны Кровью наших врагов обогрим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, — нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с

сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «Эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратись домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г.» Да, это и тут есть:

*Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим,
Мсть беспощадная всем супо-*

*статам,
Смерть паразитам трудящихся
масс!*

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

*— Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем...*

*— Вихри враждебные веют над нами...
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...*

*— Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем...*

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бес-

стыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, са-трапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

— Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:

— А Петербург весь под стеклянным потолком будет... Так что ни снег ни дождь, ни что...

— Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Двигается медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

— Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы депутатов:

— Сего не буде!

Фельдман яростно:

— Это почему?

— Жидив не хватате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

26 апреля.

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба — 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж.-д. упала на 50 процентов... Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

— Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

— Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

— Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина — пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами, — теперь это уже факт. Взят и Петербург...»

В три часа вошла с испуганным лицом Аня:

— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдадут им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук.

Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсяннико-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их...» О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана. «L'homme fut des milliers dannees un fou, apres avoir ete des milliers dannees un animal».

27 апреля.

«Известия»: «Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов... узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники с своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы — вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы...

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

— Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

— На Одессу идет Григорьев!

— Какой Григорьев?

— Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. «Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!» Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский ев-

рейский погром?

28 апреля.

Так и есть!

«Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей украинской советской армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству...»

Затем приказ Антонова-Овсеенко:

«Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население... Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака... раздавлен и вбит, как черви, а землю, которую он опоганил...»

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

«Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину,

окружил себя стаяй черных воронов с засаленными рожами... Проповедует о том, якобы большевики желают запретить в коммуны... меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спаситель, восстал против богачей... Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать... Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих... Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян...» Подписано так: «Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко». — Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще, — «из местной жизни»: «Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров».

Паника и отчаянные зверства. «Вся буржу-

азия берется на учет». Как это понимать?

— Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к Л. Там из окон весенний розовый запад среди бледно — синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерibasовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат: «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, а за ними с лаем собака... Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет «чистое светопредставление»: «День мирного восстания», грабеж всех буржуев поголовно.

30 апреля.

Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался грабеж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерibasовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с во-

ем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсяннико-Куликовского. Говорит: «Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».

— Три часа. Опять ходил в город: «день мирного восстания» внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, камнями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

— Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит...

1 мая.

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания «Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем,

всем, всем! Еще одно усилие и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину...»

Приходил «комиссар» дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов...

2 мая.

Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсяннико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь,

бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, — шла настоящая охота. Кипен спасся случайно, — ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. — «Есть тут жиды?» — спрашивают у сторожа. — «Нет, нету». — «Побожись!» — Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

— Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, — черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро

и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

3 мая.

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки — и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

«Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!»

Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной действительности, угрожающей мирному спокойствию населения».

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов.

4 мая.

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с по-

лосами блеска на крупе, на плечах — стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор, хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «об ужасах царской цензуры».

5 мая.

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг «Голоса Красноармейца»:

«Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков...»

Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40

бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставать только тайком?

Статья Подвойского в киевских «Известиях»: «Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции... Черная банда негодяев... Хищные когти румынского короля и помещиков...» Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место: «К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь — невежественной, антисемитской, безграмотной... Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права... Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение...»

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: «День великой лжи». Содержание:

«Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки...

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято, как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать — русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задуть Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает — и исчезнет!»

А вот вырезка из горьковской «Новой Жизни» от 6 февраля прошлого года:

«Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетари-

ата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!»

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Ш. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати). Вчера в Бупе будто бы была шифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы «те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов». Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками» и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охо-

те к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, об его душе слова Ив. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь!» Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастью, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для «борцов» и реалистической народнической литературы один, для прочих — другой, с некоей мистикой. И все «надевали лавровые венки на вшивые головы», по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

«Мы глубоко распались с существующим... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны... Беда наша в

расторжении жизни теоретической и практической...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь» и «вшивые головы» нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главари наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!» И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:

*За народ, народ, народ,
За святой девиз вперед!*

Конечно, большинство выводило басами

довольно бессмысленно:

*И утес великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку переска-
жет...*

«Ведь что ж было? — говорит Достоевский. — Была самая невинная, милая либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

«Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость... И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, само-

званцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Это — из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

«Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чувашаи, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что... Шли «прелестные письма» Стеньки — «иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство...». Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали мезтью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...»

Не верится, чтобы Ленины не знали и не

учитывали всего этого!

— «Красноармейская Звезда»: «Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии, Вильсон, требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру... Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения...»

Радостные слухи — Николаев взят, Григорьев близко...

8 мая.

В «Одесском Коммунисте» целая поэма о Григорьеве:

*Ночь. Устав, пан Гетман спит,
Спит и — видит «скверный» сон:
Перед ним с ружьем стоит
Пролетарий. Грозен он!*

*Жутко... Взгляд его горит,
И, немного погодя,
Пролетарий говорит,
В ужас «пана» приводя:*

*— Знай, изменник и подлец,
Руки вздумавший нагреть,*

*Желтый гетманский венец
Я не дам тебе надеть!*

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, что «крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции», мужик Изпод Одессы, и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской — человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую — там, на углу Преображенской, то же самое... В городе слухи: «Произошел переворот!» Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-

а! — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из «Одесского Коммуниста»:

«Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнажения, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: «Бей жидов, спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям националистам!»

И далее: «Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, которой и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням!»

Рядом с этим стихи:

Коммунист — рабочий

*Знает, сила в чем:
В нем любовь к работе
Бьет живым ключом...*

*Он не знает наций,
Хлещет черных сук.
Для организаций
Отдает досуг!*

6 мая.

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, — в прошлом столетии, — молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

— Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи: Где пришел еси, молитву сотворяй, Без нее дверей не отворяй, Аще не видишь в дверях ключа, Воротись, друг мой, скорей, не стуча...

Куда девалось все это, что со всем этим стало?

«Святейшее из званий», звание «человек»,

опозорено как никогда. Опозорен и русский человек, — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось «ледяных походов»! Уж на что страшна старая русская летопись: непрерывная крамола, ненасытное честолюбие, люта «хотя» власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым «для подъема поганых на свой же собственный отчий дом», рабские послания друг к другу («бью тебе челом до земли, верный холоп твой») с единственной целью одурачить, провести, злые и бесстыдные укоры от брата к брату... и все-таки иные, совсем не нынешние слова:

«Срам и позор тебе: хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!»

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, — и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая ло-

шадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

*На гривастых конях на косматых,
На золотых стремянах, на разлатых,
Едут братья, меньшей и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленной,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!»
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба,*

*Он за меч, — загорается злоба,
Занимается сердце в груди,
Нет, и меч не берет! С виду ру-
бит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!*

Это писано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая...

— В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву!» — и дальше гораздо серьезнее: «Не время словам! Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях Октября... Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей...»

Напечатан новый список расстрелянных — «в порядке проведения в жизнь красного террора» — и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товари-

ца Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи...»

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных» — которые, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи поют, — этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом — ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печатать-

ся — и не где-нибудь, а в «толстых» журналах — такие, например, вещи:

*Уж все цветы в саду поспели...
Тот лен, из какого веревку спле-
ли...
Иду и колосья пшеницы разбираю...
Вы об этой женщине не тужьте...
А в этот час не хорошо везде ль?
Царевну не надо в покои пу-
стить...
Я б описал, но хватит слов ли?*

Распад, разрушение слова, его сокровенно-го смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят?

Не понимает, не чувствует:

— А как же надо сказать? по-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще

и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядерного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под

странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках», и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест, что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолет ли теперь?

10 мая.

«Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть... С Колчаком едет Михаил Романов... едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность... несет еврейские погромы, водку... Колчак поступил на службу к международным хищникам... чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна... Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих...»

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: «Эти писаки зарываются и порой пуска-

ются в пляску... мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки...»

Помимо крестьян, «засекаемых» Колчаком, страшно беспокоятся и о немцах: «Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы...»

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце.

И опять слухи — теперь уже о десяти транспортах с «цветочными» (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека, близко знающего его: «Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины...»

11 мая.

Призывы в чисто русском духе:

— Вперед, родные, не считайте трупы!

Из вестей о «разгроме» Григорьева можно убедиться только в одном — что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал «сам» Троцкий. Но, оказывается, он в Киеве. «Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины... Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину... Говорил к народу с балкона...»

Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский... Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи.

Кутон, говорит Ленотр, Кутон — диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Аттила, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, «страстный друг Народа и Добродетели», был, как известно, калека, колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно по-

стыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор — и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, — отнялись на всю жизнь.

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины «окрылило прибытие вождя».

Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа, который, будучи Спаситель, восстал на богачей»? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что «истины» Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется

только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

12 мая.

Опять флаги, шествия, опять праздник, — «день солидарности пролетариата с красной армией». Много пьяных солдат, матросов, босяков...

Мимо нас несут покойника (не большевика). «Блаженни, иже избрал и приял еси, Господи...» Истинно так. Блаженны мертвые.

Говорят, Троцкий таки приехал. «Встретили, как царя».

14 мая.

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем:

«В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетки снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы опра-

виться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев, — убитых свыше ста, магазины разграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, как и был, погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!»

Ночь на 15 мая.

Пересматривал свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой...

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке рус-

ской революции». Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеши держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге, и то ухитрилась миллион нажать! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бе-

гал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросяшься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие...

Девки визжат на выгоне:

*Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...*

Из-под горы идет толпа ребят с гармонями и балалайкой:

*Мы ребята ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить...*

Думаю: «Нет, большевики-то поумней будут господ Временного Правительства! Они

недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику».

На деревне возле избы сидит солдат дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца, так под немца!

В саду возле шалаша целое собрание. Карульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

— Вириятно, эрунда, барин?

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом — и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге

было:

— Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

— В тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали...

Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обещшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбредухал...

15 мая.

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышит тяжелой злобой к «коммунии» и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога...

Шел через базар — вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги — и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков, Сами порой небось покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

*Зарежем штыками мы алчную гидру,
Тогда заживем веселей!
Если не так, то всплывут они скоро,
Оживут во мгновение ока,*

*Как паразит, начнет эта свора
Жить на счет нашего сока...*

Грабят аптеки: все закрыты, «национализированы и учитываются». Не дай Бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир Платона», поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами...

Вспомнил почему-то князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света — и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли «защитником всех свобод». Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

16 мая.

Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помогите нам Господи!

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался — и больно, и грустно, и

сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов...

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже вовеки не вернется... Вспомнил лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, — был день его Ангела, — потом к большевикам, насчет квартиры — и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет — и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими...

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве...» Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Кази-муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну... Сколько бунтарей, вождей вот именно из таких!

17 мая.

Белыми, будто бы, взяты Псков, Полоцк, Двинск, Витебск... Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно... Что если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести «центроком-дезертир».

21 мая.

В Одессу прибыл Иоффе, — «чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к проле-

тариату всех стран... чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу...»

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

— Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, — паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе-Рабинович. Очень честолюбивый, — через каждые пять минут: «когда я был послом в Берлине...» Красавец, типичный знаменитый женский врач...

Рассказчик втайне восхищался.

23 мая.

В «Одесском Набате» просьба к знающим — сообщить об участии пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика... Потом некролог какого-то Яшеньки:

«И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька... как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки... как зимний луч солнца... возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что

есть ценного в человечестве...

Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва «всемирного бича, венеризма».

На Дерibasовской новые картинки на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами — буржуя; подпись: «Ты давил нас толстой пузой»; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; Из-под короны течет полосами по щекам кровь... А коллегия при «Агитпросвете», — там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, — заседает, конструируется, кооптирует новых членов, — Осиповича, профессора Варнеке, — берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками...

24 мая.

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

«В зале Пролеткульта грандиозный абитурбал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачок, шалости электричества, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера — супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова».

Списал слово в слово. Воображаю эти «маленькие ножки», и что будут проделывать «товарищи», когда будет «шалить», то есть гаснуть электричество.

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в «Южном Рабочем» (меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большеви-

КОВ):

*Испуган ты и с похвалой сумбур-
ной
Согнулся вдруг холопски пред ва-
рягом...*

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском Листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», — точно решительно нет никаких причин пугаться, — или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то великие преимущества перед «обывателями». Да и кто, собственно, эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком и о чем заботятся, вообще, революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о

жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедливого, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!

25 мая.

«Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала».

Чьи-то похороны с музыкой и знаменами: «За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!»

26 мая.

«Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша...»

Некрологи, статьи:

«Ушел еще один... Не стало Матьяша... Стойкий, сильный, светлый... У гроба — знамена всех секций пекарей... Гроб утопает в цветах... День и ночь у гроба почетный караул...»

Достоевский говорит:

«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено...»

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая.

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания, — шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, — приехавшего из Москвы, — не застали дома. И такой же тяжкий путь и назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие

от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели... И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит В. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень поувесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсяннико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, — бегут... Сообщение с Киевом совсем прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славыанск...» Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устройению человеческого счастья, «новой, прекрасной жизни». Оно работает всюду, принимает заказы на все, бук-

вально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно — богатой и со сказочной быстротой процветавшей! — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая.

Часто недосыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров, Каменец, Сла-

вянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту... Чичерин протестует... Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский — комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... Революция в Индии ширится...»

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 руб. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж, кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакомого моряка):

«Завтра в двенадцать истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глу-

по, но шел домой как пьяный.

31 мая.

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов... Энергично преследуется панически бегущий неприятель... Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Царицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе — день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в «Одесском Коммунисте» статья: «Шапки долой!»

Десяток яиц стоит уже 35 руб., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». Взяты на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно». Часы переведены еще на час вперед — сейчас по моим десять утра, а «по-советски» половина второго дня.

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, — «Одесса переусердствовала», — пожимает плечами, разводит руками, кое-что «смягчает»...

Статейка «Терновый венец»: «Поплыл по

рабочим липкий и жестокий слух: «Матьяша убили!» Гневно сжимались мозолистые руки и уже хрипло доносились крики: «Око за око! Мстить!»»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие... Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» Оказалось кроме того — «легкое опьянение».

2 июня.

Сводка — заячьи следы. Одно проступает — успехи Деникина продолжаются.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «роль» Богоматери «или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» — «Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать — и плачет...»

И крокодилы, говорю, плачут...

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекло-видно — розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе — в Красном переулке, против театра «имени Свердлова» и над входом в театр. И опять этот страшный плакат — голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 июня.

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать — год! И сколько перемен и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди застрелит. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат

повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

— А Перемышль генералы за десять тысяч продали, — говорит один: — я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 июня.

В газетах все то же — «Деникин хочет взять в свои лапы очаг» — и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конеч-

но, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещание прощения красноармейцам) и глумятся над ней:

«В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

Одно из древнейших дикарских верований:

«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...»

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом, своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав совершенный подлец перед прежним.

И еще одна библейская строка:

«Честь унижится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколения будет собачье...»

И еще одна, всем известная:

«Вкусите — и станете как боги...»

Не раз вкушали — и все напрасно.

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению... Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо

зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова, — столь оправдавшиеся на Наполеоне, — принадлежат певцу «Колокола».

А сам Наполеон сказал:

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!»

Ленотр о Кутоне:

— Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а между тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент — Онорэ. «Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменилось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон — Неф. В 1794 году он наконец основался

опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в Конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр, — и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

— Когда мы явились к Кутону, — рассказывает провинциал, — я, к своему удивлению, увидел господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отли-

чалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерной кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. «Чем могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута — и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны»,

которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа...

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1889 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано — «и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве ручконок и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная

драма шла в бешеном темпе. «Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции — все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, «чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: «Сторонись!» — а толпа шаркалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя!»

«Стихийность» революции:

В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

— Пришли Суханов — Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще несуществующего совета!

— Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был, между прочим, Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благород-

ство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе — и мы, «доверием и державной волей народы облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть...

— Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается

ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

— Эх, распошел,

Ты, мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

10 июня.

Журналисты из «Русского Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Бупе» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается; убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» — всегда «экс-

тренное»! — заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул:

«Довольно, надоело! Хлеба!» — «Ах, вот как! — завопил Фельдман. — Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил: — «Я крикнул!» — и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

— Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, — «граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить на счет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей: — Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

— Передают нагло — скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

— Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

— Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий сфинктер; почти сплошь золотые зубы; на цыплячем теле — гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах — развратнейшие пузыри — галифе и щегольские, тысячные сапоги, на костреце — смехотворно громадный браунинг.

— В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный ко-

миссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

— Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

— Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

— Двадцатого! Я вам раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безоб-

разие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей живодов».

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Карауль-

щик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубаше навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, плохо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит, «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый ба-

рин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы померете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти

подметки. Как петуха зарежу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но справедливым хозяином. Он говорит:

— Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную ду-

му собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорожку под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованием в этой думе!

— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалование-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому же, как не тебе и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохвотом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал — демократ, три

года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр, хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся и пролезть он там может куда угодно...

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилуют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в по-

лушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну, и чудна ты, старуха! Ну, и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей глупой головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча. Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким

месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет...

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! Зато и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

— Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

— Сорок не сорок, а правда, везут.

— И кормить их будем?

— А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

— Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с

живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «обывательщина». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради

ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 июня.

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

«Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына... Палач Колчак идет на соединение с Деникиным...»

И вдруг:

«Угнетатель рабочих Гришин-Алмазов застрелился...»

Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился».

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск...

Четыре часа.

Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

— Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

— А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

— Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: «Два часа с половиной». — «Как, мать твою душу, как два с половиной,

когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режиму?» — Вырвет часы и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет: одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит, — все мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало.

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Со-крат видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди природжденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангель-

ское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж удивляться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратов-

ские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые анти-социальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, антисоциальность.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привер-

жена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долго-

летняя борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик:

«Всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно — безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и со-

трясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаюсь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обещанная, расстрелянная и уже покорная, принима-

ла будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: «Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрывает...»

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них,

сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: «Ратуйте, кто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмещаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен... Пусть же гудит набат! Не время калякать!»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июня.

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина... Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство...»

Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной «литературы»? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове...

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 июня.

На Дерibasовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза — генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове — все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?!»

18 июня

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!» — и так далее.

В Киеве доклад Раковского о международном положении:

«Революция охватила весь мир... Хищники дерутся из-за добычи... Контрреволюцию в

Венгрии мы потопим в крови!» И дальше: «Позор! В Харькове четыре деникинца произвели неопишемую панику среди наших многочисленных эшелонов!» И как венец всего: «Падение Курска будет гибелью мировой революции!»

Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» — Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щ. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белго-

род. По прямому проводу 18 июня, в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до одной: «Циркулировавшие слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, — ну что ж, «слухи пока не подтверждаются», и прекрасно...

20 июня.

«На западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор...

Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление... Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», долженствующей «раздавить гады», уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят бродячей бандой... Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов... Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... Противник оттеснил нас западнее Царицына... Мы гоним Колчака, который в панике... Румынское правительство мечется в предсмертной агонии... В Германии разгар революции...

В Дании революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

*Товарищи, кольцо сомкнулось
уже!
Кто верен нам, беритесь за ору-
жье!
Дом горит, дом горит!
Братец, весь в огне дом,
Брось горшок с обедом!
До жранья ль, товарищ?
Гибнет кров родимый!
Эй, набат, гуди, мой!*

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только Кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в ны-

нешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, сви- ньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сейчас опять идем в архиерейский сад, ча- сто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, — вполне мерт- вая страна. Давно ли порт ломился от богат- ства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облуплен- ное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чу- десно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охва- тывает пение, поклоны священнослужите- лей, каждение, все это благолепие, пристой- ность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчает- ся всякое земное страдание. И подумать толь- ко, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви толь- ко на похоронах! Умер член редакции, заведу- ющий статистикой, товарищ по университету

или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

Под серпом и молотом

Из записок неизвестного

I

Этого старичка я узнал прошлой зимой, ещё при начале царствования Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мёртв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошёл какой-то мальчишка, который что-то нёс с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несёт ему пшённой каши: старичок питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж до-

ма, долго шли по какому-то подземелью, постучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, докрасна раскалённая. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для уха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешен яркими лубочными картинками — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки — зелёные, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок. — Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некото-

ром подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу своё земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли тёмные, жестокие и, думаю, надолго. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Так и Россия: вся наша история — шаг вперёд, два назад, к своему исконному — к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? «Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы...» Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители её ещё дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, губительной для него же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина:[1] «Пёс, лижущий пилу, пьёт собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознаёт вреда себе...» Впрочем, всё это вам и без меня хорошо известно. Перейдёмте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забегала шакалка в пещеру Иоанна Многостра-

дального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя ночью на полу тёмной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, принимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»

1930 г.

II

Жизнь возобновляется, — ведь идёт шестой год их царства, — даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, — например в какую-нибудь чёрную сырую ночь с этим особенным треском колёс и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда всё течёт, блещет,

тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники...

Вместе с весной стало как-то необычнолюдно на главных улицах. Народ, впрочем, всё больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как замороженные звери из своих холодных нор, — бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народо-вольца: ужасная чёрная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные верёвкой... Однако очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумлённой улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придётся, в какой-нибудь чайной. Сижу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разгово-

ры и музыку. Какой-нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-чёрными глазами, отставив вперёд ногу, с бешеной страстью жжёт и бьёт смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо ревёт на гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вёл беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Теперь мы Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженная голова имеет форму гроба.

III

Очень далеким стало всё прошлое! Был я однажды в Хамовниках, в доме Толстых. Был вот такой же блестящий апрельский день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли... И какая грусть! Дом пуст, дав-

но не топится, в нём холод, сырость... Особенно грустно в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми чёрной кожей, очень потёртой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Всё бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю ещё Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: чёрный жилет, белая бальная перчатка, палка... Потом — восковая свеча с панихиды по нём... Смотрел — стеснялось дыхание. Как всё хорошо, безжизненно и печально! Век ещё более давний и потому кажущийся ещё тоньше...

IV

В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие посёлки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, — не понятно. Земля скудная и малая, чернозёмному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пядьцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмеваются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу вёрст. Я о ней слышал между прочим, такое суждение: — Дивно, как ещё эта Москва веществует!

V

В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от Никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь опять я еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что я опять увижу это «пепелище», пока не увидел собственными глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть всё прежнее, своё, собственное, чьим-то чужим, — чьим именно, никто ещё не знал толком во всей деревне, — странно взглянуть на

все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провёл почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натопанная грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стёкла окон, из зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты чёрными кружевами — так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и

глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Провёл я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецкой Никольского Степана, стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились — жили бы себе на спокойе, у нас теперь не хуже прежнего, всё хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно по близости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганёнка; дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.

VI

В прекрасный сентябрьский вечер шёл в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампы и лежали цветы.[2] Возле стояли старичок и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что всё погибло? Нет ещё...» — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдём, пойдём, ты совсем впал в детство», — и повела его, плачущего, по дорожкам к ворогам.

VII

Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу — день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шёл вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. На солнечном углу, на повороте на Моховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дур-

ной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и «общедоступное». Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил рот и, вбок прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: «Есть похабненькое...» Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня всё время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображён был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку, последний советский декрет... Я на целый день уехал из Москвы — целый день провёл в деревне, в одной усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шёл к усадьбе со станции, стал ещё очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но и в

этом была весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щёки, дует в рукава... Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, её ещё серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души — только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; всё вокруг было тихо, мертво, пустынно — только тикали какие-то птички по парку; палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец, подошёл сторож с трубкой в зубах, повёл меня к дому, отворил ключом главные двери и пошёл за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестевших со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубы-

ми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли в женскую спальню с кожаной мебелью, с овальным заржавленным зеркалом... Смотрел и думал: как поверить, что всё это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: «Скучно вам, небось, тут?» — «Скучно, — ответил он. — Говорили, новый строй, новый строй, а на деле всё в прежнем положении. Один подлог, обман...» Потом он опять запер дом и ушёл к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в окно в полуподвальный этаж — увидел сквозь железную решетку какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками — львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн...

Ушёл я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке лёгкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мёртвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, блестящими покоями...

VIII

Был на суде.

Подсудимый крестьянин Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал «богомазом». В молодости «ознакомился с революционной и материалистической литературой», сделался «убежденным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконописью — вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в партию, зачислен был на «первые московские пехотные курсы», «вёл работу по реорганизации кадетских корпусов», после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов «против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист», и наконец, демобилизованный в прошлом 23 году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики. «Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московской Губсуд?»

Перед судом — человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чи-

сто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице, — истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонёрства, по справедливой характеристике газет.

— Подсудимый, расскажите всё дело по порядку.

— Я сблизился с убитой мною Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю такое оформление брака излишним. Однако она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить её — напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения — тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завить-ся, напудриться... Вижу: суцая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к

коммунизму, цинично пользуясь своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрезок сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов как коммуниста и борца.

— Так что, собственно, за это вы и убили её?

— Именно за это. И кроме того, за назойливость её.

— Как же было дело?

— На охоте. Пошел 4 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришла в лесок. «Давай, говорит, присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для неё можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твёрдо. Тогда я тотчас выстрелил ей в голову, она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни

звука. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало всё содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей.

— А для чего нужно было резать его?

— Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.

— Как долго длилось всё это?

— Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

— Что же вы делали дома?

— Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами.

— А затем?

— Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал своё дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего.

Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стёкла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я уезжал из Москвы к одним знакомым на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от неё кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьёзная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески лёгкий в движениях); оба занимаются русской историей, — он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном посёлке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в по-

сёлке, а как-то сама по себе, на отлёте, на месте срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Ещё без фундамента — только на столбах по углам, так что всё заходил под неё чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углём, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зелёный...

Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубаше, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем покрестьянски — тоже бахилки и суровая рубаша до пят, расшитая по рукавам и подолу красными ёлочками. И пленилась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она всё твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость — пострадать и в стра-

даниях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала всё загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по её словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько вёрст лесом. Над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

Х

Наш «Рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чухотка истинно сжигали его, — я ни у кого не видал таких пылающих глаз и такой худобы. А меж тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той лёгкости и даже весёлости, с

которой нёс он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в своё время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Всё то же оживление, шутки, всё те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, оснуем на Кавказе поселок — под солнцем, у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических джунглях...

— И уж тут с нами не сладишь, — смеясь, говорил он, — батраки, бедняки, коммунисты! И как ещё жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщине...» И что же? Я уверен, что она счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках...

XI

В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церква с синим кумполом». Шёл долго, устал. Но весна, тепло, — было очень хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелёными главами, которые мужик называл синими, весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нём синих и лазурных облаков...

Теперь тут казармы имени Баумана... Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет ды-

рами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Роци 115 десятин. Роци, числом 5, заповедные. Роца цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льну. Скотный двор в нём 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нём 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нём лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом

стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зелёные, лиловые, синие — густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленых челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым тёплым картузом, на линючую ситцевую рубашку на впалом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцателей». В ней есть такие строки:

О, жилище немятежное ближних моих друзей!

Мирное обиталище всех утрудших в ней!

Ветроград пустынный, краснейший Эдем!

*Небурное пристанище, юдоль, сладкая
всем!*

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря. Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начётчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледными глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревни, возят его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убеждённо, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни слова. Мужики восхищаются:

— Какие учёные люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьет — и шабаш!

XIII

На Волге видел Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвёл её к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах всё как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: чёрные, средневековые лики икон, чёрная олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром. Он шёл ещё медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и чёрные ряды сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и чёрные — сажень ростом, великаны...

XIV

В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией — не то лес, не то парк, дикий,

дубравный. На выезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез, — церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под тёмных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Ещё дальше — развалины дворца, пролёты в развалинах стен...

XV

После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал барином: заливной звон колокольчиков под расписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка — три задранных

клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

— Теперь всё пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь запечатанный. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке; за ней древние земляные укрепления, вековые сосны. Кругом ясная и чёткая пустыня полей и лесов, солнечная тёплая колкость...

XVI

Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка. Это в Москве-то, в двадцать пятом году двадцатого столетия!

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесённого снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спе-

реди и с боков состоящая из теремов с крыльчками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колени. Единственный след чьих-то очень больших ног вёл к главному крыльчку. Я пошёл по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть, — там теперь музей. Поднялся на крыльчко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в тёплом картузе, в длинной стёганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошёл по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я подошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди — интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотки... Все собирали...

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали... Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошёл снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

XVII

Прошное воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов, ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Грозного: потёртая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами. Концы рукавов истёрты особенно... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие калеки, недужные, «пораженные язвами и червья воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в чёрной шля-

пе, другой в рясе — круглоликий красавец Алёша Попович с шелковистой каштановой бородкой, с тёмно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами... Всё ещё Русь, Русь. Но уже на исходе, на исходе.

XVIII

Опять весна, и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

*Ты в пустыню суровую,
В места болотные, непроходимые
Поселился еси...*

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу ещё заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне жёлтые лилии. За валом собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три берёзовых аллеи, в которых поют птицы.

Некоторое пространство в этом зелёном кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт тополями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розоватыми (от песчаной земли), озими — ярко-зелёными. Дальше, за холмами, леса всё гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зелёные берега. Вечерами под его тяжёлые ворота с золотым крестом над ними идут чёрные фигуры монахинь. Справа — скит, дальше плоскодонный лог, а за

ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролёт всё одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идёт к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повеется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадёт на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у неё — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из чёрных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошёл во двор монастыря, прельщённый красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две

рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил её показать, где на монастырском кладбище могилы самые древние. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся её белый капюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порах и углублениях, суженную к изножью. Буквы, насечённые на ней, покрытые мохом совсем чёрным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Ферапонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда всё спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает

небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветлённым блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

XIX

У стен одного из т-ских монастырей встретил монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряжённую в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и чёрной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого,

погребённого в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжёлой собачьей цепи (до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришёл в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услышав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, стоял на ней босиком и в одной рубахе, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду ещё жарче будет!» Как-то раз не пришёл. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его всё не было. Когда стихло пошли искать по лесам окрест — не нашли и в лесах. А потом пошёл как-то на медведя мужик — и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зелёной траве,

посреди благовонных цветов...

XX

На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводырями стеклоь без счёта.

Во время обедни всё это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра, сожжённые солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лилового цвета, с дырой посередине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял её остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках) и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчовая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, слышались крики, вопли. Пение, ладан,

чёрные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли... Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперёд палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и всё прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представление, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под её рев и свист поющий во весь звонкий голос:

— Все пташки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом, — кумовья и сваты: раскрасневшиеся от чаю и сивухи лица с мутными, умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады...

Воротясь на постоялый двор, лёг на деревянный диван, очень утомлённый долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. Погода

портилась, — в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался всё усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, остро сверкали молнии, сквозь гром и сердитый шум деревьев с ярмарки ревел «Интернационал».

XXI

Был ещё в одном монастыре (опять в другом краю). Пришёл рано утром. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей несло пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам её, против боковых алтарей, стояли в два ряда чёрные монахини, с чётками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на чёрный посох с жёлтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжиз-

ненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорых излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошёл туда, постучал в дверь. Вышла мужественная монахиня с чёрными внимательными глазами, вся в чёрном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, озарённых солнцем. В одной горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола

для чтения. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, всё продолжая следить за мной серьёзными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя её, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым шёл ровный лепет зелёной древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Историк монастыря, перечисляя гробницы, даёт и краткие жизнеописания погребённых в них. «В гробнице такой-то погребён такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...». В следующей — «отрок Сергей, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и

вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошёл к склепу, откуда идёт спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошёл прочь...

XXII

И ещё одно старинное место.

Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошёл в ещё более просторный, но светлый зал, весь позлащённый солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не украшали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шёлком, неземная красота восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как

часто это бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-жёлтое лицо с впалыми щеками, едкие, пронизательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, так и остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик, по лаковому полу блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В «Расходной книге» этого имени прочёл между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан...» и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «К Богу и вечности», эти горестно-возвышенные упрёки земле и человеку?

*Почто, о человек! Стремись
Всегда за счастьем земным?
Неужли ты надеждой льстишься
Вовеки наслаждаться им?*

Приморские Альпы, 1930

Андре Шенье

Прочел Ленотра об Андре Шенье.

Мало кто знает, что знаменитый французский поэт был француз только наполовину. Ленотр рассказывает, что Париж и двор Людовика XV настолько поразили и очаровали «одного из восьми богатых вельмож», бывших в свите посла Отоманской империи, вручавшего свои грамоты французскому королю в марте 1721 года, что этот вельможа, возвратясь на родину, в Стамбул, до конца жизни остался фанатическим поклонником Франции. Он даже свою новорожденную дочку назвал по-французски, Елизабет, и воспитал её в таком восхищении перед французским двором, что она до двадцати пяти лет ждала себе жениха не иначе как в образе прекрасного рыцаря из Парижа, а не дождавшись, вышла всё-таки за француза, за скромного советника

французского посольства, Людовика Шенье.

Вот от этой-то мечтательной турчанки и родился Андре Шенье, говорит Ленотр. Когда ему сравнялось три года, родители его переселились в Париж. И он привёз сюда с собой, в своем младенческом сердце, унаследованную от матери жажду прекрасного и ту страстность, что создают поэты, а мать — свои наконец-то готовые осуществиться мечты. Действительность, однако, оказалась и для него, и для неё очень жестокой.

Низкое небо, грязная мостовая, дома с обсыпавшейся штукатуркой, серая трудовая толпа, мелочность нравов, ничтожность черни, спесь знати — таким представился г-же Шенье Париж. Двор, который она могла видеть только издали, показался ей только скучным гнездом интриг и честолюбий. А к этим разочарованиям присоединились денежные и хозяйственные заботы. Средства семьи были скудны, г. Шенье долго и понапрасну искал места. Наконец, ему предложили отправиться в качестве консула в Марокко. Он уехал и пробыл в отсутствии целых семнадцать лет. Когда же вернулся, был уже канун

революции. И вся семья оказалась настроена весьма революционно.

Г-жа Шенье, с трудом воспитавшая пятерых детей, была ожесточена против общества, находила его отвратительным, ибо не смогла при всех своих достоинствах и гордом сознании их, занять в нём положение. Не имея возможности выделиться при дворе, она замкнулась в кружке из нескольких остроумцев, скептиков и фрондёров, партизанов новых идей. Таких было тогда много. Они в сущности вовсе не желали разрушения старого мира, говорит Ленотр; но им очень нравилось критиковать его и легкомысленно желать победы утопистам. Эти любители туманного будущего и новшеств назывались в то время философами; они заигрывали с утопистами, как буржуа наших дней заигрывают с социализмом, забывая об ужасном пожаре, который, играя огнём, произвели наши предки сто лет тому назад. И вот к ним-то и тянулась г-жа Шенье.

Да тянулись и прочие члены семьи. А когда, наконец, революция разразилась, открыто стали на её сторону.

Брат Андре Шенье, Мари Жозеф, писал напыщенные трагедии, подписывался «шевалье де Шенье», письма свои запечатывал печатью с гербом и графской короной и раболепствовал, чтобы сыграли при Дворе его «Аземира». Отец бегал и унижался перед сильными и знатными, стараясь получить пенсию. Когда же революция разразилась, сын и отец немедленно вспомнили каждый свое, — сын то, что его «Аземир» был освистан, а отец скудость пенсии, — и превратились в ярых демагогов. Мари Жозеф особенно отличился, — написал новую пьесу, настолько революционную, что она, по отзыву К. Демулена, «двинула дела гораздо быстрее октябрьских дней». И вышло таким образом, что судьба дала Андре Шенье видеть не только общую низость, которой поразила его революция, но и частную, в своей родной семье.

Андре долго жил в Лондоне, совсем не интересуясь политикой и предаваясь только развлечениям, которых требовала его сильная и горячая натура. Но в 1790 году он возвратился во Францию и попал в вихрь всеобщего энтузиазма. Тут, не за страх, а за совесть,

он на время страстно поверил «в обновление человечества, достойное благ Свободы и подчинённое всемогуществу Разума».

Однако время это длилось не долго: он был для революции слишком умён, зряч и благороден. Он быстро отличил в толпе, кинувшейся на добычу, наивных глупцов от убийц по найму и по инстинкту, и тотчас же принял участие в контрреволюционной борьбе с тем пылом, который называли даже «кровожадным» и который, конечно, состоял только в благородной ненависти к подлой кровожадности революционеров. Его душа, полная любви ко всему высокому, прекрасному и чистому, была потрясена зрелищем торжествующего мошенничества и зверства, попрания всех святынь и традиций, видом всей той циничной лжи, пошлости, грязи и тирании, которыми отличаются все «взрывы народного гнева», и он не мог не восстать на революцию, а восстав не мог не погибнуть. И гибель эта была ужасна.

В начале 1794 г. он скрылся в Версаль. Скрылся не из страха, а просто потому, что слишком устал от революционной мерзости.

Измученный, он отдыхал здесь среди мраморных богов, полуразрушенных портиков, огромных водоёмов, где отражалось небо, лесных аллей и чащей. Сарду всего тридцать лет тому назад записал рассказ одного старика, который часто видел Шенье в ту пору: это был, по словам старика, маленький, коренастый, смуглый человек с горящими глазами, квадратным лицом и огромной головой.

В первых числах марта Шенье тайно сообщили о предстоящем аресте его друга Пасторета. Он немедленно кинулся в Пасси, где Пасторет скрывался в доме родителей своей жены. Пренебрегая опасностью, он прошёл Сен-Клу, Булонский лес и вечером, в темноте, вошёл в Пасси, надеясь через несколько минут увидеть Пасторета и увести его в Версаль. Но было уже поздно: Пасторет был уже арестован, Шенье застал только его жену, в слезах и отчаянии. Он начал её утешать, ободрять, торопить бежать. Но вдруг — стук в дверь:

— Именем нации!

И через мгновение в дом ввалилась ватага «членов революционного Комитета Пасси». И

началось всё то, что так страшно знакомо нам, свидетелям «великой российской революции».

Что это были за люди, спрашивает Ленотр, и какой историк достойно опишет, наконец, их, громкие деяния?

Всё, что было мало-мальски честного в стране, уже давно прокляло «великую французскую революцию», старалось бежать от неё, терпеть её молча, жить в самом незаметном и скромном труде. Все отказывались от чести заседать в этих революционных комитетах, обязанность которых заключалась в шпионстве, доносах, арестах. Каким же людям были по вкусу эти обязанности! И тем не менее во Франции насчитывалось в то время более двадцати тысяч таких комитетов! Это ли не позор, не растление страны!

Для ареста Шенье, говорит Ленотр, не было никакого предписания, никаких указаний свыше. Но эти скоты были одарены каким-то животным инстинктом. Они верно учуяли аристократа в незнакомце, случайно ими встреченном. Они угадали, что в руках у них благородное и гордое сердце, хорошая добыча

для эшафота, — угадали, несмотря на то, что все были пьяны, пьяны настолько, что глупость их превзошла все границы. Протокол допроса, составленный ими, состоял из такого нелепого набора фраз и был так чудовищно безграмотен, что Шенье отказался подписать его...

Посадили Шенье в тюрьму Сен-Лазар, старое, грязного цвета здание за тремя железными решетками, похожее на гигантскую вонючую клетку для диких зверей, набитое сверху донизу узниками, которые вечно стонали и выли, чувствуя себя стадом, согнанным на двор бойни. И как только его посадили, он решил умереть:

— Приди, приди, о смерть, освободи меня, — пишет он, войдя в тюрьму.

Но могло ли его страстное сердце принять столь скорую и безмолвную смерть?

— Как? Умереть, не плюнув в лицо террору? Умереть, не узнав, не осмеяв, не повергнув в грязь палачей и словоблудов? Не оставив ничего, чтобы могло умилоостивить историю за всю тьму убиенных?

И Шенье остался жить, ждать казни, чтобы

писать и проклинать. «И слава ему — говорит Ленотр, — слава поэту, выразившему возмущённую душу изнасилованной Франции, кинувшему из темницы анафему тем, кто обесчестил её!» Прекрасные слова. Только одну ли Францию обесчестила её «великая революция»? Не всю ли Европу, не всё ли культурное человечество?

Казни шли непрерывно, изо дня в день. И поэтому Шенье не скоро дождался своей очереди, — его казнили только в первых числах Термидора. Родные его оставались сторонниками революции, — брат был даже в среде наиболее могущественных вожаков, — и то ли поэтому, то ли по беспечности надеялись, что его просто «забудут» в тюрьме. В ужасе был один старик отец, который неустанно бегал по «комитетам», моля о снисхождении к сыну. В первых числах Термидора он дошёл до самого Барера и долго заклинал его, плакал перед ним. — «Прекрасно, — сказал наконец Барер, утомясь этой сценой, — твой сын будет через три дня свободен».

И точно, ровно через три дня, когда старик сидел в своей квартире, полный надежд на

близкую встречу с сыном, в передней раздался звонок. Обезумев от радости, — уж не Андре ли это? — он кинулся к двери, распахнул её — и увидел Мари Жозефа: тот был так бледен, лицо его было так страшно и многозначительно, что никаких сомнений больше не оставалось...

В самом деле, как раз в этот самый час Андре Шенье обрёл полную свободу: в этот час телега с двадцатью пятью обезглавленными трупами, среди которых был и труп Андре, покинула площадь, где совершались казни, и направилась за Париж, к одной заброшенной каменоломне. В эту каменоломню уже шесть недель подряд, изо дня в день, валили казнённых, и возле неё с утра до вечера предавались своему отвратному занятию некие люди, которые снимали с трупов окровавленную одежду и швыряли их затем в братскую могилу.

Так же, конечно, поступили эти люди и с одним из самых великих поэтов Франции, посмеявшимся «не принять революции», не поклониться перед её идиолом.

Одесса, лето 1919 г.

Камилл Демулен

Ленотр, которому при жизни следовало бы поставить памятник за его труды по истории французской революции и развенчание многих «великанов и славных вождей» её, не пощадил и Камилла Демулена. При всей своей мягкости, жестокая вещь его очерк о нём!

Демулен родился и рос в благочестивой и патриархальной провинции, «в одном из благопристойнейших городов, где жизнь протекала без всяких событий и потрясений, где жили дёшево и просто, сытно и беззаботно». Демулен был сын скромного судьи, человека во всех отношениях невидного, хотя и почтенного, верного слуги своего короля. Что же толкнуло его на революционные пути? И как случилось, что имя этого заики славно и доныне?

Родился он в 1760 году, в Гизе. Учиться его отвезли в Париж: «чтобы хотя немного облегчить свой весьма ограниченный бюджет, судья выхлопотал для своего первенца стипендию в колледже Людовика Великого». И вот первое, что способствовало революционной

судьбе Камилла: схоластика, царствовавшая в те времена в воспитании и часто на всю жизнь отравлявшая людей лживыми, выдуманскими чувствами и мыслями. Демулен сам признавался:

— Нас воспитывали в благопочитании античных героев республики... Проникаясь восторгом перед Капитолием, мы не могли не почувствовать ужаса перед версальскими людоедами...

Последняя фраза замечательна по своей напыщенной пошлости. Но ведь есть и некоторое извинение ей. Справедливо восклицает Ленотр:

— Невозможно и определить, какая доля ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего «тирана». Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не в праве была рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам. Член конвента Жавог, гулявший по улице голым, пренаивно считал себя за ис-

тинно античного человека...

Думаю, что Жавог был большой болван и далеко не наивный прохвост. И всё-таки в общем Ленотр прав: всякое время имеет свою заразу. В 1789 году Демулен писал отцу:

— Вы угадали, что я буду римлянином, окрестив меня Люцием, Сульпицием, Камиллом, — вы напророчили...

Конечно, строки эти были необыкновенно глупы и смехотворны, и тем более, что было Демулену в ту пору уже двадцать девять лет и одержим он был тогда далеко не римскими мечтами. И всё же есть даже и тут доля произвольного, заразы.

А заразился, он, повторяю, рано. Приехав в родное захолустье на первые каникулы, Камилл уже привёз её с собой: он горячо и без умолку говорил о Цицероне, о смерти Гракхов, осыпал проклятиями память сиракузского «тирана». В следующем году пыл его возрос ещё больше: он поднимал такой гвалт в доме, восхваляя блага свободы и понося деспотизм, что однажды некий важный гость, приехавший к судье по делу, «сгрёб мальчишку за уши и вышвырнул его за дверь». Так и пошло:

«Всё больше и больше влюбленный в Афины и в Спарту приезжал он домой на каникулы и с великим презрением осмеивал провинциальные нравы... А однажды на одном званом обеде дошёл даже до того, что вскочил на стол, давя фарфор и хрусталь, и стал орать, призывать к оружию, к восстанию...» Что было в этой театральной выходке? Конечно, была и доля искренности, хотя и весьма низкого свойства: Камилл был заика, безобразен лицом, нищ, честолюбив, жаден до благ земных, «сладкоморд», как говорят русские мужики.

«Львёнок томился тоской по арене...» А арена эта была Париж, который «он уже любил и желал завоевать». И вот кончив курс и заручившись адвокатским дипломом, Демулен «кинулся в водоворот парижской жизни». Но борьба за существование оказалась в этом водовороте столь трудна и жестока, что Демулен впоследствии никогда не проговаривался о том, что пришлось испытать ему, и его биографы поневоле очень скупы в своих сведениях насчёт его парижской жизни с 1784 по 1789 год, когда политическая случайность сделала из него демагогического журналиста. Сохра-

нилось, однако, несколько его писем к отцу, и они неопровержимо доказывают то, о чём так упорно молчал впоследствии этот до безумия самолюбивый, до сумасшествия стыдившийся нищеты революционер и римлянин.

Жил он эти пять лет то у отца на хлебах, то в Париже, — почти без всяких хлебов, конечно. Тут он порой выступал в судах. Но много ли было этих выступлений? «Без всяких связей, с отталкивающей внешностью, с трудом подбиравший слова и оттого ещё более заикавшийся, начинавший всякую фразу с мычания, с нечленораздельных звуков, он должен был фатально пребывать в безымянной толпе адвокатов без дел. А отец, и сам бывший всегда в стесненном положении и совсем не одобрявший ни образа его мыслей, ни его праздной жизни, — чем мог помочь ему отец? И вот, чтобы не умереть с голоду, Камиллу приходилось переписывать кое-какие судебские бумаги, а когда не было переписки, — ехал подкармливаться на родину или же писал отчаянные письма к отцу...»

Жил он тогда по соседству с домом одного богатого буржуа и частенько заглядывал в

него из своей мансарды, любуясь играми и смехом милой белокурой девочки, тринадцатилетней дочки хозяина. «Она являлась единственным светлым лучом в мрачной жизни этого бродяги, скептика, не видящего впереди никакой цели существования, чувствующего себя безобразным и старым, несмотря на свои двадцать пять лет... Он мечтал о недоступном ему семейном счастье, о заповедных для него тихих радостях... Он всё, всё готов был отдать за то, чтобы быть красивым, родовитым, богатым, его охватывала ненависть к существующему социальному строю, в нем просыпался бунтовщик, он сжимал кулаки с бешенством нищего, безработного...»

Созыв Генеральных Штатов окрылил его. Он почувствовал, что час его настает. Он мчится в родной Гиз, мечтая попасть в избиратели, добивается, что его вносят в списки, молит отца собирать голоса в его пользу, ведь он, Камилл, весь пылает беззаветной любовью к народу. Но отец отказывается от всякого вмешательства в политику, и Камилл проваливается. С сокрушенным сердцем возвращается он в Париж, полный ненависти к со-

гражданам, «этим антиподам философии и патриотизма», которые, конечно, были бы совсем иными, если бы выбрали его, и с лютой завистью к своему школьному товарищу Робеспьеру, которого послал своим депутатом Аррас, и опять изливает свои горести в письмах к отцу.

Эти письма изумительны по своей наивности, говорит Ленотр. Он рассказывает в них о своём невероятном пролазничестве, о тех трудах, кои он превозмог, чтобы обратить на себя внимание. Он признается в своем тщеславии и чревоугодии, — он таки-любил покушать, этот «философ», патриот, римлянин! Он втерся к Мирабо, поселился у него в Версале и пишет: «Мы сделались большими друзьями... Мы обедаем в изысканном обществе... Иногда мы пьем у его любовницы старые вина... Собственный стол его обилен, тонок... Мне придется употребить большие усилия, чтобы снова стать суровым республиканцем и возбуждать ненависть к аристократам...»

А затем события пошли с головокружительной быстротой, и знаменитая сцена в Па-

ле-Рояле сразу выдвинула Демулена в первые и наиболее славные ряды заклятых врагов короля и друзей народа.

«У него было многое, чтобы нравиться парижской толпе: талант к театральным, площадным эффектам, смелое зубоскальство, язвительность... Вот он вскакивает в Пале-Рояле на стол, возвещая этой толпе бездельников об отставке Неккера, выхватывает из кармана пистолет, мечет громы и молнии на головы воображаемых шпионов, кричит о набате Варфоломеевской ночи... И Париж засыпает под гул восстания, которое не утихает затем целых 7 лет, а Демулен возвращается в свою каморку знаменитым...»

Успех его особенно окреп после того, как он выпустил свои памфлеты: «Освобожденная Франция», «Речи к парижанам у фонаря», полные лести и гаерства перед чернью. «Он мечет стрелы, он бьет по дворянам, по священникам, по раненым, по мертвым... Ему всё равно, сохраняет ли достоинство его перо, — лишь бы о нём говорили!» И о нём говорят. Но материальные делишки его всё ещё из рук вон плохи. И опять, опять пишет он от-

цу:

— Все газеты курят мне фимиам. Но известность только увеличивает мой природный стыд обнаруживать свою нищету, в которой я не могу признаться даже Мирабо... Издатели меня надувают... А шум, вызванный моими памфлетами, поставил на ноги всех моих кредиторов... Молю вас прислать мне шесть луидоров. Я хочу использовать момент моей известности, — устроиться на квартире, иметь право внести себя в списки по выборам. Неужели вы так жестоки, что откажете мне в кровати и паре простынь?

И далее:

— О, что за скверная политика присылать мне по два луидора! Только подумать, что судьба моя зависит от обстановки, от квартиры! Имей я квартиру, я уже давно был бы председателем, комендантом округа, выборщиком от парижской коммуны, а вместо всего этого я только известный писатель, для которого легче произвести революцию, чем добиться от отца сразу полусотни луидоров... Я всю жизнь вздыхал по собственной квартире, а по вашей милости у меня в Париже только

меблированная каморка... Вы всегда говорите, что у меня есть ещё братья. Да, но между нами есть большая разница, — природа одарила меня крыльями... Пришлите же мне кровать или дайте мне возможность купить её здесь. Неужели у вас хватит духу отказать мне? В Париже я уже известен, со мной совещаются по поводу важных событий, меня приглашают на обеды... Мне только не достает квартиры. Умоляю вас, помогите мне, пришлите мне кровать или шесть луидоров!

Что мог думать старик о своем сынке, который ещё так недавно писал ему, что он римлянин, спартанец? Как было соединить «крылья» сынка и его жажду кровати? И всё-таки отцовское сердце наконец дрогнуло: деньги были посланы, и Камилл поселился возле Одеона, основал газету «Восстания во Франции» и скоро пошёл ещё больше в гору. «Тут он задирчиво, стилем грамотного вёде-вилиста, с весёлостью литературного гамена, живым, полным неожиданностей и занимательности языком задевает самые важные вопросы, обрушивается на всё и на вся: его беспощадная ирония опрокидывает, разрушает,

заражает жестокостью... После него Террор был естественен. Он заранее высмеивает его жертвы и высмеивает так, что они уже не вызовут жалости...»

А вскоре после этого исполнилась и другая мечта Демулена: добившись славы, он добился и денег, — он разбогател, женившись на той буржуазной девочке, на которую он когда-то смотрел из окна своей мансарды и которая превратилась в барышню, в невесту. «У него лицо было желчного цвета, черты неправильны и жестоки, рот искривленный, на всей фигуре какой-то неизгладимый налет нищеты; а она была обворожительно красива и богата...» И всё-таки Демулен и тут добился своего!

Добился он, как известно, и многого другого. Женившись, получил в приданое сто тысяч франков, насытив свою затаенную страсть к хорошей обстановке, к «обильному и тонкому» столу и прочим буржуазным радостям, с головой уйдя в них и в семью, он скоро совсем остыл к революции. Но увы, она-то не забыла его. Она несла его всё выше, как растущая волна, на которую сам же он так хо-

тел попасть когда-то, а вознеся, жестоко сошвырнула с себя прочь. Сам Робеспьер был шафером на его свадьбе. «Но счастье делает человека снисходительнее», говорит Ленотр. «Женившись, начав жить в довольстве, Демулен счел революцию конченной, хотел даже вернуться к адвокатуре... Однако, когда республика была провозглашена, когда Дантон, уже министр, призвал его на пост генерального секретаря, когда он под руку с своей Люсиль входил в блестящий дворец на Вандомской площади, в нём опять проснулся прежний Камилл, он с упоением подумал о том, что теперь добрые обыватели Гиза должны лопнуть от зависти...» А кроме того, и не так-то и легко было удалиться в те дни под сень струй. «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!» И Демулен участвовал в сентябрьских убийствах, голосовал за казнь короля... меж тем как в стае уже поднималась грызня и уже не было никакой возможности уклониться от этой грызни... Кончилось, короче сказать, тем, что «этот ужасный человек, этот литературный бездельник, этот революционный фельетонист должен был стать жертвой

той самой революции, которую он же и спустил с цепи... должен был взойти на эшафот под улюлюкание той же самой черни, которой он столько льстил, злобным и низким инстинктам которой он так горячо потакал...»

Жаль только бедную Люсиль. Ей-то за что отрубили голову?

Товарищ дозорный

Мне было тогда двадцать лет, я жил у сестры в ее орловском имении. Как сейчас помню, понадобилась мне лишняя полка для книг. Сестра сказала:

— Да позови Костина...

Вечером Костин пришел, взял заказ. Мы разговорились, заинтересовались друг другом и вскоре стали как бы приятелями.

Он был мой ровесник. Помимо наследственного ремесла, — его покойный отец тоже столярничал, — он имел ещё и другое: самоучкой одолев грамоту, он добился того, что попал помощником учителя в школу, построенную возле церкви моим шурином, и даже переселился в неё, оставив мать, старшего брата и сестру в избе на деревне, так как уже

стыдился мужицкой жизни, а кроме того, ещё и потому, что старший брат, человек хозяйственный, спокойный и здоровый, считал его круглым дураком. И точно, был он довольно странен.

Он был очень высок и миловиден, слегка заикался и, как многие заики, цвет лица имел девичий и поминутно вспыхивал румянцем. Робок и застенчив он был вообще на редкость, больше секунды глядеть в глаза собеседнику никак не мог. Сразу было видно, что он живет в каком-то своём собственном мире, что он втайне съедает необыкновенным самолюбием, страшной обидчивостью и мучительной завистью совершенно ко всему на свете, из которой проистекало его другое удивительное свойство: ненасытное, чисто идиотическое любопытство и обезьянство.

Видеться и говорить с ним было, в сущности, томительно. Он не говорил, а только всё спрашивал. Вся его речь состояла из одних настойчивых и подробных расспрашиваний, выпытываний: что, как и почему? Он с наслаждением повторил всякий ответ и тотчас же ставил следующий вопрос. Держит какую-ни-

будь вещь, взятую для работы, для поправки или уже сработанную и принесенную, внимательно оглядывает её, ощупывает, гладит своими большими руками — и мучит вас: спрашивает буквально обо всём, чего бы случайно ни коснулся разговор, повторяет с удивленной и довольной улыбкой ответы и, видимо, даже на мгновение не сомневается, нужно это ему знать или не нужно. Притом он свято верил положительно всему, что ни скажи. Я раз пошутил, — в Америке все вниз головами ходят, даже волосы у всех висят: он с удовольствием изумился, повторил и поверил. Вообще шуток он не понимал и не чувствовал совершенно.

И с утра до вечера, каждую свободную минуту, он чему-нибудь учился, неустанно обзьянничал: что ни увидит, что ни узнает, всему учится, всему подражает и всегда бесталанно, хотя и довольно точно. Чего только не умел он! Поправляя часы и гармонии, мой велосипед и лавочников аристон, переплетал книги и налаживал перепелиные дудки, на жалейках тайком учился играть и стихи писал... Всего и не упомнишь...

Конечно, он не пил, не курил, — тут его обезьянство уступало той женственности, которая отличала его натуру и, кстати сказать, производила впечатление довольно-таки неприятное; одевался со скромной нарядностью, — тонкие сапоги, пиджачок, вышитая косоворотка, новенький картуз, — и даже носовой платок носил с собой. В руках неизменно железный костылик.

Школа стояла рядом с церковной караулкой. В большие праздники мужики, приходившие к обедне, дожидались службы, курили и вели оживленные беседы всегда в караулке. Костин являлся туда раньше всех и внимательно слушал всё, что говорилось, сам, однако, в разговор не вступая, сидя в сторонке, внимательно что-нибудь разглядывал, — скалка, утюг, зазубренный топор, — и тая на губах чуть заметную довольную усмешку над мужицкой глупостью и болтливостью.

Я часто заходил к нему по вечерам: всегда дома и всегда что-нибудь прилежно работает. Горит тусклая лампочка на столе, а он сидит, гнётся возле неё. Косоворотка навывпуск, подпоясана шёлковым жгутом с мохрами. Лицо

чистое, худощавое, но круглое, глаза с беле-
сой зеленью, светло-желтые волосы, примас-
ленные и причёсанные на косой ряд, падают
прядью на лоб. Увидя меня, дружелюбно
оживляется и тотчас же, слегка заикаясь и из-
бегая глядеть в глаза, пускается в расспросы.
Иногда вынимает из стола тетрадку и подает
мне:

— Йесть новенькие. Ппрочтите и обкрити-
куйте.

Я разворачиваю и читаю:

*Резвая струя в лугах бежит,
Есть у нее удачное название,
Как только пловца заманит,
А он погибнет без сознания...*

— Это опять акростих?

— Акростих. Выходит: река. Только, конеч-
но, ять нельзя вставить...

Хорошо помню, как я зашел к нему в по-
следний раз.

Была поздняя осень, роковые дни для него
и для меня — вот-вот надо было ехать в город,
ставиться в солдаты. Наступила Казанская,
оставалась всего неделя нашей свободы.
Утром, чуть свет, я, помню, пошел к обедне,

зашел в караулку, ещё горит лампочка, караулка полным-полна расцвеченными девками, бабами, мужиками и накурена, как овин; мужики галдят, а бабы и девки все поглядывают на нары под полатями, шепчутся и покатываются со смеху, валяются друг на друга; предмет смеха — обычный: Костин; он же сидит, опустив глаза, и что-то разглядывает; на голове высокая шапка серого барашка, на ногах новые глубокие калоши, одет в новую тёплую поддевку черного сукна, лицо алое от обиды, но на губах улыбочка...

А вечером я побрёл к нему в школу. Грязь была страшная, тьма хоть глаз выколи. Сверху сыпалась и сыпалась мельчайшая мга. Я шёл через сад как слепой, чувствуя только одно: тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрых деревьев, их коры и щекочущую влажную пыль на лице. Наконец забелел туманный огонёк впереди — знакомая лампочка на столе возле окна в школе — одинокий, единственный свет во всём селе, уже давно спящем мертвым сном. Костин спокойно сидел за работой с явным удовольствием оклеивал тонкими пластинками фанеры чью-

то шашечную доску.

А на его работу тупо и странно-весело, блестящими кофейными глазами, смотрела сидевшая за партой возле стены небольшая бабочка с кудряшками на крутом лбу, молодая жена церковного сторожа, — совсем бы ничего себе бабочка, если бы не ничтожный носик с заячьими маленькими ноздрями. Мне было не по себе, и я, притворяясь небрежным и шутивным, заговорил о том, что меня томило, — о поездке в город. Но, к крайнему моему удивлению, Костин совершенно не разделил моих чувств: напротив, его эта поездка очень интересовала и потому радовала.

— Ах, ннет, — сказал он, с увлечением продолжая работать, от этого почти не заикаясь: — я бы, кажется, попроситься стал, если бы меня не взяли. Надеюсь непременно попасть в Царство Польское. Два шага до Парижа!

И вдруг прибавил, кивая головой на свою молчаливую и всё только тупо улыбающуюся гостью:

— Вот она, по глупости, тоже оплакивает меня. Говорит, — влюбилась. А сс какой состо-

роны она может быть мне интересна?

Гостья страшно покраснела, смутилась и трогательно неловко ответила:

— Уж хоть бы не брехал-то! Дюже ты мне надобен! Он только небрежно ухмыльнулся.

Через неделю мы поехали с ним ночью на станцию, к шестичасовому поезду. Я взял его к себе в тарантас. Он всю дорогу не спеша расспрашивал меня насчёт военной службы в других странах, а тарантас качался в темноте и тумане, невидимые лошади шлепали по лужам, оступались в колдобины, полные воды и грязи. Перед станцией стало трудно и угрюмо светать, стали, приближаясь, обозначаться мутные холодные деревья в станционном дворе... Помню, долго ждали поезда, наконец показался вдаль, в мертвенно бледном расцветном тумане, белый, тяжело и густо клубящийся дым, потом черный паровоз, медленно выплывающий из мглистого моря осенних полей... И ещё почему-то помню: рядом с тем вагоном, в который мы сели, был арестантский вагон с железными решетками в квадратных окошечках, и возле одного окошечка стоял, держась за решетку руками в кандалах,

худой старик в пенсне на горбатом носу, с красными веками; и очень странным казалось это пенсне в соединении с каторжной фуражкой, с серым блином без козырька...

А в городе было великое множество деревенского народа, с громким и озабоченным взором идущего серединой улицы, возле же земской управы, где шёл прием, весь день стояла густая толпа, и чего только в этой толпе не было! Плач, вой, причитания, крики годных, буйно и отчаянно дерущих свои гармонии, — вся эта дикая и жуткая балаганщина, в которую русский человек с наслаждением облекает своё горе, всячески разжигая его в себе. А в приёмной зале, от самой входной двери, которая поминутно отворялась, в которую несло ледяной сыростью, и до самого присутственного стола, откуда раздавался необыкновенно звучный выкликающий голос воинского начальника, тянулась страшная шеренга голых тел, — коротконогих, худых (но неизменно пузатых), меловых, с коричневой сыпью от укусов тараканов на кострецах, там, где у каждого на теле была полоса от постоянно врезающейся оборки порток.

Мы с Костиным пробрались вперёд и тоже стали раздеваться. Военский начальник, стоявший за столом, в кругу присутствия, перед серебряной пирамидой с Распятием, быстро взглянул на меня и что-то крикнул особенно звучно. Он был молод, красив, затянут в мундир, преисполнен энергии; короткие волосы его курчавились, длинные кудрявые усы торчали, светлые глаза зорким огнём освещали лицо. Костин, сидя и стягивая с себя сапог, замер и, весь алый от натуги и волнения, радостным шепотом спросил меня:

— Он самый главный и есть?

Через час его забрили. А через полмесяца мы с ним расстались — и очень надолго, на целых двадцать лет. Встретились же снова так.

Была осень девятнадцатого года. Наша армия только что оставила К. Я по некоторым причинам задержался на некоторое время, скрываясь всеми правдами и неправдами под видом самого дрянного мужичонка. А город уже наполнялся большевицкими властями и учреждениями, вступающими войсками и обозами, и чекисты, во главе с каким-то това-

рищем Дозорным, уже работали не покладая рук. В ледяной солнечный день я шел однажды на главную улицу. Прошел мимо собора, глядя на голый городской сад, черневший напротив него, потом пошёл по тротуару вдоль бывших присутственных мест, увешанных красными флагами. Перед этими присутственными местами тянется площадь и идёт дорога под гору, к мосту через реку. И вот, в ту минуту, когда я только что поравнялся с подъездом бывшей судебной палаты, из-под горы вырвался и полным махом прямо на меня понесся небольшой конный отряд, а за ним — длинный могучий серый автомобиль. Всё это появилось так неожиданно и очутилось возле подъезда так мгновенно, что я невольно приостановился. Из машины же, меж тем, уже выскакивал высокий человек в белой папахе, в чудесной офицерской поддевке с белым барашковым воротником и необыкновенно щегольских офицерских сапогах. Бледное кошачье лицо его с желтыми усами было оживлено быстрой ездой, белевые глаза расширены. Он глянул — и бегом кинулся ко мне.

— Николой Николаевич, ввы? — слегка задохнувшись, быстро спросил он меня и до глаз залился алым румянцем.

И, не дав мне ответить и мучительно заикнувшись, прибавил:

— Йя Костин-Дозорный... И ннаслышан про вас... Так что уж — простите!

И обернувшись к двум башкирам, с винтовками в руках сидевшим на машине, крикнул, вбегая в подъезд:

— В ссад!

Меня скорым шагом, даже не обыскав, провели через площадь в сад, а через сад — к обрыву над речными обрывами и крикнули:

— Задом к речке!

Я стал и, мгновенно выхватив револьвер из кармана зипуна, в упор ударил в ногайскую рожу, стоявшую слева, и тотчас же задом упал с обрыва. Вторая рожа выстрелила по мне, потом сдуру кинулась назад за подмогой. Я сломал себе руку, а всё-таки ушёл.

8. VI.24

Notre-Dame de la Garde[3]

Вагон был полон рабочими, — было воскресенье.

Против меня сидел каменщик, длинный и худой, как Дон-Кихот, весь спечённый солнцем, морщинистый, заросший серой щетиной, испачканный известкой, ввевшейся в его одежду, в рыжую обувь и в руки, и не спеша жевал, поочередно отрезая кривым ножичком то ломтик сизой тугой колбасы, то кусок белого хлеба. Всё в нём было по-южному сухо, коряво, всё жестко и грубо, — одни глаза, безразлично и устало смотревшие на меня, были кротки и укоризненны.

Остальные были молодежь, итальянцы и провансальцы. И все они, не смолкая ни на минуту, быстро и непонятно говорили, раздражались хохотом и орали, громко шлёпали друг друга. Они то и дело, кто в лес, кто по дрова, затягивали «Интернационал» или хором кричали: «a bas la guerre!»[4] — хотя никакой войны нигде не было и не предвиделось, — и залихватски свистали.

На остановке в Сэн-Рафаэле по вагону про-

шли с опущенными глазами две монахини, кланяясь и предлагая купить бумажный цветок и, в придачу к нему, взять маленькую картиночку-изображение Марсельской Божьей Матери Заступницы, Notre-Dame de la Garde. Как ровен и чист был прекрасный цвет их молодых, нежных лиц, оттенённых черными капюшонами, как смиренны и девственны склонённые ресницы, как целомудренны прямо, аттически падающие линии черных ряс, подпоясанных длинно-висящим жгутом! Их встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел вслед за ними, прошелся по платформе... Стены станции пестрели цветистыми плакатами античных руин, средневековых соборов; был тут автокар, полный туристов, поднимающийся по извилистой, идеально-живописной Альпийской дороге, был идеально-счастливый молодой человек, с открытой головой сидящий на руле в лёгкой и длинной машине, уносящей его к лазурному озеру, к идеально-светскому курорту... Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно

и молодо синело меж их гирляндами... Я пошел в конец поезда, где прицепливали, по-видимому, пустой вагон, пришедший с ветки. В самом деле, он был почти пуст. Я вскочил в него и едва успел сесть, как поезд тронулся дальше.

В вагоне сидело только двое: удивительной полноты молодая женщина, возле которой пламенели две корзины с крупными томатами, а напротив неё — престранная для французского вагона фигура, одна из тех личностей, от которых уже давно отвык мой глаз: старичок-странник. Женщина, несмотря на полноту и черные усики, цвела красотой и тем избытком здоровья и великолепною, пурпурно-лиловой крови, которые встречаются, кажется, только в Провансе. А старичок был легонький, сухонький, с босыми, темно-желтыми от загара ножками, с редкими и длинными бесцветными волосами, в которых сквозил коричневый череп, в белом балахончике и с двумя белыми мешочками по бокам, надетыми крест-накрест: совсем бы русский старичок, если бы не тонкость и чистота черт лица. И он сидел и вслух, но так, точно в ваго-

не кроме него никого не было, читал. Он бегло, дружелюбно, спокойно взглянул на меня и продолжал читать:

— Seigneur, ayez pitie de nous!

— Jesus-Christ, ayez pitie de nous![5]

Он читал то, что было напечатано на обороте картонки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини: *Litanies de Notre-Dame de la Garde*. [6] Поезд гремел, но он читал ясно и с такой превосходной простотой произношения, что слышно было каждое слово. И так же, как это произношение, был прост и звук, выражение его голоса. Только всё время голос его креп и всё более приобретал убедительность, уверенность, что его слышат Те, к Кому обращался он.

— *Pere celeste qui etes Dieu, escoutez nous*, — говорил он Богу почти так, как если бы он говорил: *Monsieur le ministre, escoutez moi*, [7] но именно почти так, то есть не совсем так. Он не умолял, он только почтительно просил, но всё-таки с оттенком молитвы, обращения к Отцу Небесному:

— *Espri Saint qui etes Dieu, ayez pitie de nous!*

— Sainte Marie, Immaculee dans votre Conception, priez pour nous![8]

Женщина отвернулась к жаркому окну, за которым шли сады и виллы Булюриса, — на глаза её навернулись слёзы. У меня по голове прошёл легкий холодок... Да, да, ну пусть их нет, — Jesus-Christ, Pere celeste, Sainte Marie... Ведь всё равно были, есть и вовеки будут чувства, коими эти литании созданы. Есть неистребимая и сладостная потребность покорности и даже унижения перед тем высшим, что мы имеем в себе самих, совокупностью чего наделяем мы смертного или Божество и чему мы поклоняемся, возвышая самих себя, поклоняясь, всему тому высшему, что есть в нас. Есть в нас некий Дух, неизменно и отлично от плоти чувствуемый нами — Sant Esprit qui est Dieu, нечто такое, что для нас непостижимо, что нам, смертным, кажется бессмертным, вечным. И есть, несомненно есть, в нашем порочном, человеческом непорочность как бы нечеловеческая, неизменно нас трогающая, восхищающая, — так как же может не восхищать Образ этой непорочности чистейший и совершеннейший, пусть даже опять-

таки самими нами, в силу нашей горячей потребности, созданный? А старичок, замедляя голос, невольно возвышал его и говорил всё проникновеннее:

— Sainte Marie, saluee par l'archange Gabriel, priez po-ur nous!

— Sainte Maria glorifiee dans vorte Assomption, priez pour nous![9]

И торжественно и светло звучали слова: saluee, glori-fiee. Разве слова все одинаковы? Разве не живут они таинственнейшей и разнообразнейшей музыкой, жизнью?

Когда-то мне было странно французское обращение к Богу, к Божьей Матери, к Спасителю на вы, потому что ещё чужда была Франция и мёртв был язык католической церкви. Потом я не привык к этому обращению, но почувствовал в нём, в его галльском рыцарстве, какое-то особое очарование.

Старичок читал:

— Notre-Dame de Grace, priez pour nouse!

— Notre-Dame de la Garde, Reine et Patronne de Marseille, priez pour nous![10]

Reine et Patronne, Царица и Покровительница... Разве не великое счастье обладать

чувством, что есть всё-таки Кто-то, благостно и бескорыстно царствующий над этим Марселем, над его грешной и корыстной суетой и могущий стать на его защиту в беде, в опасности? И Кто эта Reine?

— Мать господина нашего Иисуса, за грехи мира на кресте распятого, высшую скорбь земную приявшая, высшей славы земной и небесной удостоенная!

Я тоже взял у монахинь цветок и картинку. Теперь я вынул эту картинку и стал рассматривать: она была прелестна в своей наивности и традиционности, эта столь обычная, ремесленная статуя Богоматери, с Её юным, благостным и спокойным Ликом, с маленькой короной на голове и большеглазым Младенцем, доверчиво простирающим к миру свои детские ручки с Её рук, с Её лона. И я вспомнил далёкое счастливое время, когда я впервые видел эту статую в действительности: было весеннее утро, и высоко в бледно-голубом небе стояла Она, Rein de Marseille, недоступная земным горестям и волнениям, но неизменно к ним участливая, — реяла на высокой колокольне песочного цвета, издале-

ка видной с путей морских, вознесенной на желтый каменистый пик над всей гаванью, над всем городом со всеми его предместьями и над всеми его нагими, пустынными окрестностями, говорящими уже о близости Испании. Я смотрел на картинку и мысленно повторял за старичком:

— Вы, Кто первая встречаете благословением прибывающих и последняя провожаете им отходящих...

— Неисчерпаемое сокровище наше...

— Никогда не оставляющая наши мольбы напрасными...

— Нами именуемая нашей Доброй Матерью...

— Покровительница рыбаков и корабельщиков...

— Верный путеводитель проповедующих Слово Божие язычникам...

— Охраняющая в битвах наших воинов...

— В чье святилище входим мы с такой радостью...

— Благодатная Звезда морей...

— Маяк Блистающий, указующий нам среди бурь гавань спокойную...

— Вы, на руках своих несущая Повелителя ветров и бурных волн...

— Это хорошо, не правда ли? — прерывая чтение, обратился ко мне старичок так, точно мы были всю жизнь знакомы.

— Очень хорошо, — ответил я от всей души.

Он это почувствовал и спросил, как добрый учитель понятливого школьника:

— А почему?

И тотчас же ответил сам:

— Потому, что здесь выражается всё самое прекрасное, что есть в человеческой душе.

— Да, — сказал я. — И нет казни достойной для того, кто посягает хотя бы вот на такие картинки.

Он поглядел на меня, подумал.

— Вы англичанин? — спросил он.

— Нет, русский.

Он легонько улыбнулся.

— Да, конечно, не англичанин. Я так и думал. Англичане никогда не сидят, например, в вагоне просто, ничего не делая: или пристально смотрят в окно, точно изучая что-то, или читают... Ну, да, вы русский. И я знаю,

сколько страданий и гонений терпит теперь Россия...

И, опять подумав, помедлив немного, стал дочитывать:

— Утешительница скорбных душ и прибежище бедных рыбаков...

— Посредница милосердная между небом и нами...

— Надежда наша в жизни и сопутница в час смертный...

— Бдящая над колыбелью нашей и благословляющая нашу могилу...

— Царица земли и небес, молитесь за нас!

И он перекрестился, вздохнул и просто и убежденно сказал, пряча картинку за пазуху:

— C'est tres bon, ca![11]

— Ah oui,[12] — прошептала полная женщина с застенчивой улыбкой сквозь сиявшие на глазах слёзы, — notre berceau et notre tombe...[13]

За окном слепило солнце и море. Был туннель, грохот, тьма и вонь каменного угля, потом блеск, лазурь, свежесть морского воздуха, красно-лиловые скалы и синие, синие заливы... Вдруг раздался треск и сверкнули брыз-

ги стекла, — вдребезги рассыпалась бутылка, вылетевшая из окна и ловко угодившая в телеграфный столб...

Это забавлялась молодежь.

Приморские Альпы, 1925

Илюшка

Едем с Илюшкой в город.

Жаркий ветер рабочей поры, бьющий с сушию и зноем в лицо. Узкий просёлок в зреющих хлебах — ничего вокруг, кроме их желтого моря да томного, серо-синего неба...

И всё в томном полусне, в дремотном волнении, всё мотается, клонится, бежит: и колеса бегут, и лошадь бежит, и хлеба вместе с цветами льются, стелются... Один кобчик повис в воздухе, точно в мёртвую точку попал: зорко смотрит вниз и мелко-мелко, быстро-быстро дрожит на одном месте острыми крылышками...

Едем на бегунках. Я впереди, правлю, Илюшка сзади. Оба сидим верхом, только у меня ноги поставлены на переднюю ось, а у него откинута на заднюю. Он упёрся руками в сидение и говорит и хохочет мне прямо в

затылок.

Он, как всегда, в отличном расположении духа. С утра до обедов был на косьбе, косил бодрей всех и ничуть не устал. «Вы думаете, я в солдатах разучился — нет, ещё ловчей стал!» Только косил без картуза, не обращая никакого внимания на солнце, и потому, когда вернулись к обедам в усадьбу, у него пошла носом кровь, и он долго унимал её, умываясь возле водовозки. Рядом с ним стоял Мотька, малый глупый, простодушный. Мотька поливал ему из корца, потом сказал:

— Ну, теперь полей мне, я тоже маленько умоюсь.

Илюшка весело выпучил на него мокрые глаза, захохотал и ответил:

— Дурак, ай я тебе прачка?

Теперь он опять то и дело смеётся, от нечего делать болтая, наслаждаясь ездой, полем, бегущим волнением хлебов, жарким ветром, мягко бьющим в лицо и порой овевающим так знойно, точно где-то пылает безмерный костёр. Он с восхищением рассказывает, как он в Киеве, где отбывал воинскую повинность, ходил в публичный дом:

— Вот там девки! — говорит он. — Это не нашим чета! Разве наша умеет так-то обойтись! А хозяйка толстая, с усами... И всю ночь пляс, танцы, пиво...

Потом — и все с той же легкостью — рассказывает то, что я уже знаю: как он застрелил одного из арестантов, которых им, солдатам, пришлось однажды вести с вокзала в пересыльную тюрьму: арестант этот хотел убежать.

— Тебе не грех? — спрашиваю я.

— Какой же мне грех? Если бы он убежал, мне за него пришлось бы целый год просидеть.

— Да лучше уж год просидеть.

— Ну, нет, я их лучше двадцать положу!

— А как же в заповедях сказано, что нельзя убивать?

— А как же в присяге читают, что обязательно надо? Потом он меня спрашивает, за что вешают «политиков» и сколько получает «с головы» палач.

— Правда, что этому палачу сто целковых с головы дают?

И без малейшего хвастовства, совершенно

простосердечно сознается, что за сто целковых мог бы и сам кого угодно удавить.

— Да чего ж? Ну, другие там покойников боятся, а я этого никогда не знал: как это он может с того света прийти? Я только со своей деревни не стал бы давить. Своего, понятно, жалко...

Бежит, волнуется горячий воздух, бегут колеса, лошадь, льются желтыми волнами овсы и ржи, дрожит в небе кобчик...

1930

Русь

Старуха приехала в Москву издалека. Свой северный край называет Русью. Большая, бокастая, ходит в валенках, в тёплой стёганой безрукавке. Лицо крупное, желтоглазое, в космах толстых седых волос, — лицо восемнадцатого века.

Спросил её как-то:

— А сколько вам лет будет?

— Семьдесят семь, господин милый.

— А вы, дай Бог не сглазить, ещё совсем хоть куда.

— А что ж мне? Это года не велики. Наш

родитель до ста лет дожил.

Чаю она не пьет, сахару не ест. Пьет горячую воду с чёрным хлебом, с селедкой или солеными огурцами.

— Вы никогда, небось, и не хворали?

— Нет, трясовица была на мне, порча на мне была. Мужа страшилась: как он ко мне с любовным чувством, меня и начинало трясти, корёжить. Сжечь бы её, ту, что напустила на меня это!

Слово «сжечь» одно из её любимых. Про большевиков говорит очень строго:

— Не смеют они так про Бога говорить. Бог наш, а не их. Сжечь бы их всех!

Её рассказы о родине величавы. Леса там темны, дремучи. Снега выше вековых сосен. Бабы, мужики едут в лубяных санках, на зубастых лохматых коньках, все в лазоревых, крашеного холста тулупах со стоячими аршинными воротами из жестокого псиного меху и в таких же шапках. Морозы грудь насквозь прожигают. Солнце на закате играет как в сказке: то блещет лиловым, то кумачовым, а то всё кругом рядит в золото или зелень. Звёзды ночью — в лебяжье яйцо.

1930

Неизвестные рассказы

На извозчике

А. и **Б.**, друзья **Н.**, оба, как и хозяин, холостые, но уже давно не первой молодости, отлично пообедали у него на Песках, сидя в светлой, теплой столовой, посматривая на хорошенькую горничную в белом фартучке с кружевами, выпили кофе с коньяком и закурили, продолжая шутить над знакомыми, вспоминая редкую глупость одного, странности другого, скупость третьего, идиотское самомнение четвертого... Но хозяин вдруг взглянул на карманные часы и сделал испуганные глаза:

— Батюшки мои! Уже почти девять!

— А что такое? — спросил **Б.**

— Как что такое? А Карцев-то? Надо показаться хоть на первой панихиде...

И все, замяв папиросы в пепельницах, встали и пошли в прихожую. Там **Б.** сказал хозяину:

— Где тут у вас, дорогой мой? Всегда забы-

ваю... А меж тем, после белого вина и нарзана...

— Все прямо, потом третья дверь налево...

На дворе стоял такой густой, морозный туман, что свет фонарей был в нем молочный и быстро проезжавшие мимо извозчики тотчас скрывались из глаз. Наконец, задержали двух и Н спросил:

— Ну, кто с кем?

— Я отдельно, — сказал Б. — До свиданья, дорогие друзья, я не поеду. Я на Каменноостровский.

— Неловко!

— Нет, Бог с ними совсем, с этими панихидами. До свидания, спасибо за прекрасно проведенный вечер...

И, помахав перчаткой, влез, большой, в золотых очках, в жеребьячьей дохе, в промерзлые санки с собачьей полостью. Сильная маленькая финка мелкой рысью понеслась навстречу туманному и морозному ветру. И Б. с удовольствием стал думать:

— Да, Бог с ним совсем. Нынче к нему, через неделю к другому, через месяц к третьему... Милые петербургские зимы!

...Карцев, Карцев... Вот тебе и Карцев. Вот и опять нет на свете никакого Карцева. Ни в Петербурге, и нигде. Конечно, нигде, — что же дурачить-то себя! Побыл на свете тридцать восемь лет и опять исчез, опять не существует, как не существовал и до этих тридцати восьми лет. И как неожиданно! «Слышали? Очень тяжело болен Карцев. Крупозное воспаление легких». «Ну, не велика беда, это только старикам опасно». И вдруг нынче утром в «Новом Времени» черная рамка и крупными черными буквами в строку его имя, отчество и фамилия] Что за вздор? Что-то совершенно нелепое, неподходящее к нему, именно неподходящее! Ведь всего две недели тому назад я обедал у него и восхищался им: как всегда удивительно бодр, энергичен, живые, блестящие черные глаза и сам весь черен, сух, крепок, отлично одет, душисто пропитан дорогим табаком, — ужасно, в сущности, курил! — молодая красавица жена, чудесная квартира, успехи в делах... И вот, вдруг, вместо всего этого — «безвременная кончина» и какая-то «жизнь вечная, бесконечная», здоровому человеку совершенно

непостижимая... Ах, уж эти панихиды и отпевания! Какой обман душевного умиления и умственной расслабленности! Тут все к вашим услугам: и какая-то будто бы высокая грусть, и какая-то будто бы небесная радость, и будто бы (...тая) вера в это «вечное, бесконечное», и эта одурачивающая поэтика надгробных слов и песнопений, а вышел на площадку лестницы покурить — и все пошло прахом: в воображении стоит только торчащий из-за края гроба и точно с маскарадной маски нос. И вот там сейчас как раз все это и происходит: и холодь на площадках лестницы перед растворенной дверью в прихожую, полную людей; и толпа там, где он лежит в полусвете восковых свечей в руках «предстоящих», на столе под церковным покровом, с лампадкой у изголовья; и это умиленное пение; и конусообразные газетовые ризы; и развевающийся возле них ладан, и похудевшая, прозрачно-бледная и еще более похоронившая от этой бледности, прозрачности и траурного платья жена, а в пустой столовой бессмысленно-успокоительное тиканье стенных часов: так было, так будет, так было, так

будет...

— Ух, как несет этим чу(...)ым туманом! И охота ей жить в такой дали от всего! Верно, уж злится, что опаздываю, полулежит на тахте, поджав ноги, и со зла курит папиросу за папиросой — все они, худые и маленькие, злы... А уж он никогда не вздохнет больше этим туманом и не узнает, что нынче нового в вечерних газетах. Был — и исчез. Изумительно. Старо, как мир, и все-таки изумительно. Мудрые думы мои обо всем этом, конечно, пошлей пошлого, да что же иное можно тут думать! Да, исчез, а все во всем мире осталось по-прежнему, только без него, и будет без него во веки веков. И будет некогда такой же вечер без меня... Подумать только: без меня! И все-таки еду вот и чувствую себя как нельзя лучше... Зла, а как бывает умна, весела, насмешлива! И эта оливковая смуглость, и худенькие ключицы, и коротенькое, как у девочки, черное шелковое платьице...

— Да, без меня, без меня... Но без кого это — без меня? Кто это — я? То, что есть мое подлинное я, не есть, конечно, мое тело вот в этой дохе. Да и что такое мое тело? Я и тела

своего не понимаю. И близко ли оно мне как следует, по-настоящему? И насколько оно отлично от других тел? Кое-чем, конечно, отлично, но в общем-то, в общем? Так что же такое я? И чем оно, в свою очередь, отлично от других? И есть ли у меня подлинная власть над этим я? Ведь что во мне происходит всю жизнь? Какая разрозненная, разнообразная чепуха мыслей и чувств, живущая какой-то совершенно самостоятельной, своей собственной и совершенно непонятной мне жизнью! И потом: какая, вообще, раздвоенность проявлений этого моего я! Вот я говорю и то и другое с тем или другим человеком, но разве всем моим я? Все время есть во мне что-то совсем другое, что, наряду с тем, все время живет совсем по-другому, думает и чувствует другое. И как свободно думает и чувствует, меж тем как мое говорящее я ничуть не свободно и не может быть свободно! Вот, например, как мил и вежлив был я, даже почтителен с горничной за обедом у Н. А сам, посматривая на нее, думал о том, что у нее там, под этим фартучком с кружевами... Да, мы свободны только в нашем внутреннем, невысказан-

ваемом, в тайных мыслях и чувствах... И уж как пользуемся этой свободой!

— А Елисейев был еще открыт, и я проморгал его — можно было заехать и купить вишен, которые она так любит... А Карцев уже никогда ничего у него не купит, а я вот еду, живу и захочу — поверну сейчас извозчика, найду и куплю все, что угодно. Я еще живу — и что это значит? Это значит, что я в некий срок родился (нечто совершенно непостижимое и даже как будто совершенно невероятное!) и вот разделяю что-то, называемое жизнью, со всеми миллионами живущих сейчас на какой-то так называемой земле; и со всеми разделю — в некий другой срок — смерть! И что же? Где-то там, за гробом, будто бы увижу все эти мириады ранее меня живших и умерших — может быть, даже Сократа, Юлия Цезаря, Наполеона, Пушкина! Господи, какой вздор! А ведь все-таки порой кажется, кажется, что все они, все эта мириады, и Сократ, и Пушкин где-то как-то существуют. Няньки вбили в голову? Но почему же у самих нянек-то это сидит в голове тысячи лет и будет сидеть до скончания века?

— Да, все одно и то же, одно и то же тысячи тысяч лет: какое-то «мироздание», то есть наше жалкое, младенческое представление о нем, восходы, закаты, круговращение земли, течение солнца, звезд, луны... Наши детства, юности, зрелые годы, радости, печали, любовь, ненависть, тщеславие — и гроба, гроба! «А если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не минет судьбы...»

— Панихиды, отпевания... Слуга покорный! Нога моя никогда не будет больше на них! Вздор хоть одно это: идиотское несоответствие человека, всю жизнь бывавшего в церкви только на похоронах, со всем тем церковным, что окружает его после смерти — целых трое суток! Несоответствие человека самого среднего, в конечном счете вполне ничтожного, с этими высочайшими словами, которые поются и говорятся над ним трое суток, а затем с Торжественнейшими напутствиями перед заколачиванием гроба... С напутствиями куда? Ровным счетом никуда, если не считать трехаршинной мерзкой ямы, в которой завалят его мокрой глиной» новень-

ком, блестящем ящике из лакированного дуба! И совершенно то же самое будет в некий день и со мной, и ведь я иногда это уже чувствую: среди всех радостей и удовольствий моей неустанно утекающей куда-то жизни уже ношу в себе сокровеннейшее «мементо мори», эту иногда сжимающую сердце тоску... и даже как будто какую-то поэзию ее, поэзию какой-то будто бы утешающей безнадежности, покорности — и укора кому-то: да, обречен, без вины виноват, но обречен и погибну — знаю, что погибну, но — покоряюсь. Что же я могу? И черт меня дернул надеть этот жеребячий наряд, в нем ужасно холодно! А на Неве и совсем замерзнешь, ровно ничего не стоит схватить и себе какую-нибудь «крупозную» гадость...

— Гони, дядя, в хвост и в гриву — полтинник на водку!

— «Смерть Ивана Ильича»... Неплохо написано, а в итоге все-таки ерунда. Ивану Ильичу ужасно было умирать, видите ли, потому, что он как-то не так прожил жизнь. Нет, Лев Николаевич, как ее ни проживи, смерть все равно. Несказанный ужас. Но как

верно, что Ивам Ильич долго был вполне уверен в случайности и временности своей болезни! Так же уверен был, конечно, и Карцев. Даже, небось, некоторое время испытывал большое удовольствие. День-два крепился, переносил жар и слабость на ногах, потом сдался, разделся, лег в постель и почувствовал себя так сладко, точно в теплую ванну сел. Несомненно, есть некоторое счастье болезни, особенно вначале, — это освобождение от одежды, от галстука, покой постели, покой свободы от обязанности держать свое тело в установленном при здоровье порядке, да и не только тело, а и все свое существо — держать так, как полагается по отношению к людям, ко всем своим житейским делам, по отношению вообще ко всей своей здоровой жизни. Но этого мало. В болезни есть еще повышенное чувство отделения от тела нашего главного я, нашей так называемой души. Так освобождается она, эта душа, от тела и при всяком большом несчастье. Это-то я уж отлично знаю — ведь и сам болел в жизни не раз, и страдал, и любил, и плакал, теряя любимое... Кстати: что такое, в сущности, болезнь? По-

пробуй-ка определить! Нечто дьявольски таинственное, неизъяснимое! А страдание душевное? А любовь, нежность, слезы? Желание пожертвовать собой ради горячо любимого существа? Узнать себя перед любимой женщиной, рабски целовать подол ее платья, ее ноги? Тут опять это освобождение, большое освобождение!

— Да, в известные годы все-таки начинаешь уже не думать, а чувствовать, что я — тоже Кай, что не только мое тело, но и мое сознание, мысль, чувства, душа, дух — все, все должно погибнуть в некий срок навеки — вы только подумайте: навеки! — и без следа, без единого следа! Кости мои могут пролежать еще тысячу лет в земле? Да на черта мне это, не говоря уже о том, что даже и кости-то эти будут совершенно не такие, что были а моем живом теле! А еще что? «Возвратится дух к Богу, создавшему его», возвратится, то есть не пропадет, да ведь я-то пропаду, я, Иван Иванович Иванов! А еще какой след? Разве это след-то, что тебя будут помнить некоторые, знавшие тебя, любившие или ненавидевшие тебя, и даже не помнить, если уж точно гово-

рить, а только вспоминать иногда? А потом и они умрут, и дети их умрут — и конец, полный конец...

— Боже мой, что же это такое? Сколько миллиардов легло в землю хотя бы за то маленькое время, которое называется нашей историей! Сколько женских тел, из которых великое множество было еще молодо и божественно прекрасно! Сколько жалких детских трупикиков! Сколько гнусных старческих! И вот и я буду в числе их через какие-нибудь двадцать, тридцать лет (и это в лучшем случае)! А меж тем все это с меня сейчас, то есть пока, до поры до времени, как с гуся вода! Ничего этого я, в конце концов, не боюсь, ничему этому до конца не верю, еду вот к любовнице, буду с ней есть груши и пить ликер и кофе, потом иметь ее... И наряду с этим: «Ах, я так люблю тебя, что хотела бы умереть в твоих объятиях!» Почему, зачем, откуда эта вечная жажда смерти, гибели в минуты сильной любви, страсти? А вдруг она и в самом деле от чего-нибудь умрет? Это тебе уже не Карцев! И вообще — как это люди могут переживать смерти любимых, близких, возлюбленных,

жен, с которыми прожито полжизни, девушек-дочерей, — все то, от чего Бог меня пока избавлял! Ужас, дикий ужас!

Москва

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки и ларьки, Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова, Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристаёт — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг, с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по, матери! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый... за тринку хочешь взять!

«Знакомый старик идет навстречу...»

Знакомый старик идет навстречу в совершенно необычном виде: в очках и с красными, полными слез глазами.

— Макар, что это с тобою?

— Да вот очки купил сейчас, а то просто беда, совсем слепой стал.

— Да ты с ума сошел, ты еще хуже ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам.

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся.

«Спят в одной комнате брат и сестра...»

Спят в одной комнате брат и сестра, подростки. За окном лунная ночь. Проснулся, перевертываясь, — она плачет. «Что ты?» — молчит, подавленно рыдает. Подошел, сел к ней на постель; стала рассказывать свое великое горе — несчастно влюблена — в мальчишку, помощника машиниста. Стал утешать, целовать в мокрую горячую щеку, потом в такие же губы... «Ляг, ляг со мною, об-

ними меня покрепче, а то я умру...» Лег — и все произошло само собой, с горячей, порывистой нежностью, счастьем и жалостью, горем.

Самая прекрасная за всю жизнь любовь.

Au Secours![14]

Мелкий осенний парижский дождь поздним вечером, тесная толпа под черными блестящими зонтиками возле входа в метро, в свете фонаря, пестром от дождя; за толпой резкий крик женщины, от кого-то отбивающейся:

— Gaston, Gaston! Ne me quitte pas, Gaston! Je t'en supplie, Gaston! Je t'en supplie... Ah! Mais voyons, monsieur, vous etes lou! Laissez-noi! Mais lacher-moi, voyons! Vous allez me faire mal, espece de brute! Je vais manquer le train si vous ne me laissez pas! Lachez-moi, done! Ah! Ma tete eclate! AUez-vousen! C'est notre affaire, a nous! C'est toi que j'ai blesse, Gaston, ma vie, mon amour! Vous n'avez pas le droit de me tirer comme ca! Vous etes tous les brutes! S-ales brutes que vous etes! Mais non, mais non! Je suis forte, je suis tres forte! Au secou-ours![15]

Толпа стоит молча, неподвижно, лица спо-

койны, бесстрастны. Потом от толпы отделяется один, другой, третий, — все расходятся в разные стороны, дождь усиливается...

Письма

Бросила, он сходит с ума, каждый день пишет ей письма, полные и угроз, и оскорблений, и унижительных нежностей, просьб вернуться, вспомнить «незабвенное прошлое»... Она дает эти письма своему новому любовнику — он после развратной ночи с ней пьет кофе, жрет круассаны с маслом и, потешаясь, вслух читает. Молод, но по утрам — припухшее лицо, нездоровый блеск глаз; размыт в ванне, черно блестят мокрые, стянутые сеткой волосы, не в меру цветистая пижама, голые ноги, их противное тело в лакированных туфлях без задка. У нее рукава машинэ так широки, что когда она наливает кофе, до плеча открывается толстая, как ляжка, рука, видна гладкая подмышка. Слушая чтение, рассеянно усмехается.

— Гренков хочешь? Еще горячие.

— Да-да. «И вот, во имя нашего прошлого, нашей былой любви...» Ты знаешь, он все это

откуда-нибудь списывает.

— Вероятно. Из каких-нибудь романов...

Голая подмышка его волнует. Встает, подходит к ней сзади, поднимает ее лицо, впивается в жирные губы. Она закатывает глаза, толчками дышит в ноздри.

Мария Стюарт

Лето, город на Волге. Большие, разных цветов афиши: «Гастроли знаменитой артистки Марии Николаевны Карелиной в роли Марии Стюарт, при участии артисток: Лаврецкой-Черкасовой, Саблиной-Дольской, Строевой, артистов: Градова, Иртеньева, Тинского, Чаева...» В газете статья о Карелиной, ее портрет в роли Марии Стюарт: зубчатая корона, узорный, стоячий выше ушей ворот, лицо неприступное, ледяное, гордое — таково в ее представлении должно быть лицо королевы. После спектакля, после «бурного успеха и бесконечных вызовов» она «отдыхает» в кругу поклонников, ужинает в садике на Волге.

Все, почтительно и восхищенно обращаясь к ней, четко выговаривают ее имя-отчество:

— Мария Николаевна, рябиновки еще при-

кажете? Еще икры позволите? Чудный салат оливье — разрешите положить?

И она ест и салат оливье, и зернистую икру с горячим калачом, и «стерлядку» в красном соусе, и «азу по-татарски», и гурьевскую кашу, пьет и рябиновку, и перцовку, и белое вино, и красное, и шартрез, и кофе, курит папиросу за папиросой.

И так чуть не каждую ночь, и хоть бы что. А у Градова, с которым она живет и который совершенно спокойно относится к богатым купчикам, имеющим ее то в том, то в другом городе, тяжкая одышка, хриплый голос, пузыри под глазами.

— Стара стала, слаба стала, — говорит он меланхолично. — Да и не шутка, ангел мой, жизнь с такой донной стервозой, как Марья Николаевна. Королева! Мария Стюарт! А эта Мария Стюарт задницу через ять пишет!

Кибитка

Усадьба при большой дороге, на краю деревни. Гимназист стоит возле каменной ограды. От кибитки, отпряженной возле овов за дорогой, идет с ребенком на руках босая цыганка.

— Барин мой серебряный, дай моему голопузенькому!

Ребенок и правда голопузый, в драной рубашонке, серьезный, мордастый, черный, курчавый; очень тяжел — держа его под ноги, вся перегнулась назад. И на самой лохмотья: истлевшая ситцевая юбка, на плечах выцветшая желтая шаль; выгоревший от солнца волосы спутаны, на сухой коричневой шее ожерелье из каких-то оранжевых шариков; шаль сползает с правого плеча — виден изгиб коричневой от загара старой ключицы; но зубы в оскале сизых губ молодые, блестящие... Дал двугривенный в толстую слюнявую ручку ребенка, тотчас крепко сжавшуюся. Усмехнулась:

— А мне? Дай синенькую — дело сделаем. Заломило низ от страшного и сладкого пред-

ставления, пробормотал, краснея:

— Дам... Приходи, как стемнеет, в сад, перелезь через ограду вот в те липки...

Приду-приду, жди меня крепко! После ужина, украв из отцовского письменного стола пятирублевую бумажку, долго ходил понапрасну в темноте под липками. Наконец, вышел на дорогу: возле кибитки жарким костром трещит сухая полынь, она одна сидит возле костра. Перешел через дорогу, подошел с бьющимся сердцем:

— Ты одна?

— Как есть одна.

— А где ж твой цыган?

— Ушел на деревню кур воровать.

— Нет, серьезно?

— Ушел, ушел, правда. Давай деньги, пойдем за кибитку.

— Почему же ты не пришла?

— Боялась. Знала, что сам придешь. Давай деньги, пойдем скорей, получишь свое удовольствие...

В темноте за кибиткой, спрятав бумажку за пазуху, схватила его ледяную руку и тайношвенно зашептала:

— Пощупай, пощупай. А завтра приходи опять, принеси еще бумажку, тогда совсем дело сделаем... Нет, нет, сейчас нельзя! Пусти, а то на все поле закричу! Цыган услышит, он тут в ваших овсах лошадь кормит!

В канаву!

Сед, лохмат, зол.

— И пожалуйста, без всяких китайских церемоний! Околею — тотчас же в яму, в канаву!

Что это, как не упоение своим воображаемым унижением, мечтой, что люди будут поражены твоим позором? И так все, всегда:

— Паду на баррикадах за счастье народа!

Это значит: испытаю мгновение высшего опьянения своей ролью и людского восторга передо мною.

— Брошусь из окна с шестого этажа!

Чаще всего это тоже жажда поразить людей, заставить их хоть на минуту забыть весь мир ради меня.

— Побегу и первый крикну о пожаре, о смерти вашей жены, матери — принесу вообще какой-нибудь страшный слух, какую-ни-

будь ужасную весть!

Опять упоение, наслаждение: ведь это от меня первого узнали люди новость, это я стал предметом общего внимания, вестником события!

Более сладострастного создания, чем человек, нет на земле.

Воспоминания

Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражён тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом,

то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочёл подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда ещё, к счастью, неизвестном мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день всё-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже доволь-

но противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь странны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью и одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

* * *

Я родился в Воронеже, прожил в нём целых три года, а кроме того, провёл однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провёл я в нём, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в тёмные зимние сумерки, в ме-

тель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезён на вокзал к московскому поезду совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в своё орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло моё детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигоев-Атава. После него называли последним из тех, которые воспевали погибающие дворянские гнёзда, меня, а затем воспел погибающую красоту «вишнёвых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но ещё и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне

тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который всё долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский всё время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уже не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишнёвым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишнёвых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе непохожими на то, что так крупно, роскошно цветёт как раз под самыми окнами

господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопехин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопехину, очевидно лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговоров с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Жёлтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой!

О, моё детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из Дяди Вани, — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишнёвый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнёшься, мама». А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором виде «Буревестник»: «Вперёд! — восклицает он. — Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперёд! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

* * *

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он ещё жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шёл, «колосья пшеница разби-

рая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелётах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелёными листьями, никогда не цветёт; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилёв изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

*Дома косые двухэтажные
И тут же рига, скотный двор, —*

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не сме-

ют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов[16] описал какого-то охотника, который идёт в лесу «по дёрну» и несёт «в ягташе» золотую «лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нёс в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актёр в каждом театре быть художником и разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров-художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Стани-

славский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова её: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нём по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно не только своё, но и всей советской интеллигенции мнение, написал мне в 1936 году: «Домик А. П. Чехова

напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нём. Почитатель Чехова, В. Молотов». Какие мудрые и благосклонные слова!»

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший её писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», в своё время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирая

Гармонь:

*Ненавижу дыхание Китежса!
Обещаю вам Инонию!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!
Я не чета каким-то болванам,
Пуškai бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений див-
ных свет —
Я вижу всё и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму
вам,
Что имя Ленина шумит, как ве-
тер, по краю!*

За что русская эмиграция всё ему прости-
ла? За то, видите ли, что он разудалая русская
головушка, за то, что он притворно рыдал,
оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя
последнее уж куда не ново, ибо какой «маль-
чонка», отправляемый из одесского порта на
Сахалин, тоже не оплакивал себя с величай-
шим самовосхищением?

*Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А младшую сестрѐнку
Невинности лишил...*

Простила и за то, что он — «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо[17] когда-то писал:

*Осточертели эти самые само-
родки
От сохи, от земли, от земледе-
лия,
Довольно этой косоворотки и вод-
ки
И стихов с похмелий!*

*В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэта-
ми:
Запустить в Господа Бога
Тяжёлыми предметами.*

*Расшвырять, сообразно со вкуса-
ми,
Письменные принадлежности,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нежности...*

* * *

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о

них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шёлковая рубашка с пояском, жёлтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщине!» А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолубие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нём так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас гетры такие?» Всё это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярен, прикнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи отелись», приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовые избиения её, возвращения в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, — о том, как надо пробиваться в люди, по-

учал на этот счёт своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Белый: и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А ещё очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас ходил? Выходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, — «ах, как замечательно, ах, как гениально!» — А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с чёрного хода пришёл, — не надо ли, мол, чего покрасить, — давай кухарке

стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовёт поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощёный наслежу... Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнётся: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

— Помнишь, Сережа, спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печёную картошку?

И Есенин отвечал:

— Всё помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы

строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

*Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
Первый раз я запел про любовь,
Первый раз отрекаюсь сканда-
лить...*

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который своё хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

*Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черёмуха в белой накидке...*

Дело происходит в мае, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «вевть»?

*Дальше, несмотря на спящую че-
рёмуху, —
Сад польшет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,*

*Хочет так, чтобы каждый дро-
жал
От щемящего слова «милый»...*

Желание луны понятно, — недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается всё это так:

*Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку весёлого мая,
Не могу ничего пожелать,
Всё, как есть, без конца прини-
мая...*

Тут май оказался уже весёлым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала «Красная Новь». Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в чёрном котелке и модном демисезонном пальто «раглан», в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поём...» Рисовал Березов и другие «картинки» — как

жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюссовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, тёмная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетки с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам стройные берёзки. Вот он идёт в коридор, поднявшись, слышим его шёпот: «Груша, сходите за цветами, купите са-

мых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Всё его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озёрам и рощам за раба Божия Сергия и за его вдохновенное творчество...»

Я читал всё это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» её, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде берёзок...

* * *

О Есенине была в своё время ещё статья Владислава Ходасевича в «Современных Записках». Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов оболыщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице, посмотреть расстрелы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть, Чека покровительствовали той

банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич; она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

* * *

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности.. Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступавшие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине

девятидесятых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал ещё не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эрделя, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточённая война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяцкий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане её, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор

«Челкаша», «Старухи Изергиль», — в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее», — такие борцы ведь всегда пламенные, — вырвал из своей груди своё пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперёд, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, ещё недавно призывавший грозу революции:

*Пусть же гром ударит и в моё
жилище,
Пусть я даже буду первый грома
пищей! —*

Минский, всё-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались ещё пролета-

риатом: это уже гораздо позднее многие из них запели подобно Минскому:

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!

Вот лежит он хладен, тленен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,

О, плачьте

До радостных слёз!

Высоко на мачте

Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется ещё и луною:

*Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне!*

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

*Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...*

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

*В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный —
и*

Неповторный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

*Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам чёрный чёлн...*

Гиппиус всё время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все ещё молчали, медленно сказала:

— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за чёлн и почему и каким таким чарам он чужд, — отдельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучают мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюблённости,

был упоён собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущённый этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка.

— Художественный театр готовится ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я всё-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего

один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что моё имя небезызвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлёбываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — сообразовайте мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я уви-

дал род вигвама, заглянул в него и увидел в нём старуху, но всё же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 г. в Москве: «Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семе-

нов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных...». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брайлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешёл на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же всё-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных послед-

ствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шёл он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, ещё более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком посёлке на берегу моря, пошли как-то втроём — он, писатель Федоров[18] и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта,

вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгрёб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И ещё: при всём этом был он довольно расчётливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А ещё позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже

уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Расчётлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нём в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно привет-

ствуя Октябрьскую революцию.

Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешёл в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступления», как сказал о нём Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью этого года в большевицкой газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

*Кто не верит в победу сознательных,
смелых рабочих,
Тот бесчестен, тот шулер, ведёт*

он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведёт он двойную игру»? Но это ещё цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

*Грубый солдат! Ты ещё не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислился, — о, не на
миг! —
К подлым, к бесчестным, к злоде-
ям!
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! в
глуши
Труп ты — во гробе червивом!
Кровью ты залил свой жалкий
мундир,
Душою ты в пропасти тёмной.
Проклят ты. Проклят тобою*

*весь мир.
Нечисть! Убийца наёмный!*

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

*Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник...
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!
Царь губошлёпствует...
О мерзость мерзостей! Распад,
зловонье гноя,
Нарыв уже набух, и пухлый, ждёт
ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь
все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!
Царь наш весь мерзостный, с ли-
сьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей привыкает — при-
том
Грабит весь мир втихомолку,
Грабит, кощунствует, ежится,
лжёт,*

*Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью,
кровью пьяный,
Ты должен быть убит!*

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший ещё до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул. Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

*Петухи поют на Святой Руси —
Скоро будет день на Святой Руси!*

Андреев, изголодавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жиз-

ни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но новая земля!»

«И вот приходит ещё один вестник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего: и вот большой ветер пришёл из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано ещё в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; гад действует всегда разумно, с практической целью: жрёт другого зверя, гада только в силу того, что должен пи-

таться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствования Ленина, Троц-

кого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов ещё не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды её и были удивительно не схожи ни в чём с прежними, ещё столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние ещё властвовали, но число их приверженцев всё уменьшалось, а слава новых всё росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одарённые, наделённые редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, по-

рочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил всё это так: «Удивительная дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время очень кстати (с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и делаю...» Впоследствии Блок писал в своём дневнике:

— Литературная среда смердит...

— Брюсову все ещё не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости...

— Мережковские — хлыстовство...

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжёлая...

— Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон — все больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...

— Городецкий, пытающийся пророчить о

какой-то Руси...

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, всё не из жизни...

— У Алексея Толстого всё испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...

— Вернисажи, «Бродячие собаки»...

Позднее писал Блок о революции, — например, в мае 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по-революционному... Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в июле того же года писал о том же:

— Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улице галдёж, хохот...

Через некоторое время, он, как известно,

впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привёл его суждение о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературе, тоже была некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революции тоже было с самого её начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в своё время и сам Блок грешен насчёт этих «завитков», да ещё и каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облечённой в Солнце». А сам Блок ещё раньше Белого, в 1904 году, поднёс Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

*Законодателю русского стиха,
Кормицику в тёмном плаще,
Путеводной Зелёной Звезде, —*

меж тем, как этот «Кормщик», «Зелёная Звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченной в Солнце», был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с воротами всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был ещё студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинно-дворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостиннодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и всё время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Всё было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой всё старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжёг Александрийскую библиотеку», — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесто-

чайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительна.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву... Вот ещё одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, — в 1947 году, — в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юно-

сти он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького и со своей стороны не поспешил на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжёгся глотком чая.

— Море смеялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это — дешёвка, лубок, вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете,

остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так — море — и вдруг смеётся? Море не смеётся, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеётся...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгаться на Художественном Театре.

— Ничего, театр, как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мере актёры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры ещё очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился

за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же как у всех — волосатые...

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...

Мне Чехов говорил о декадентах несколько иначе, чем Тихонову, — не только как о жуликах:

— Какие они декаденты! — говорил он, — они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времён Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не

декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что необходимо для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было ещё при Чехове и как всё росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молча-

ливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный мистический анархист Чулков, иступленный Вольтинский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими чёрными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил, Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости просто поразительных по количеству актёрских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистошимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием

под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актёрства, без фразёрства, то нарочито без всякой меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!»). И всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут тёмные куски пищи, живые люди, вагоны городской железной дороги огромные черви; локомотивы — жирные утки...». Он был чудовищный графоман; в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавием: «Литературная работа Горького», сказано: «Мы ещё не имеем точного представления о

полном объёме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочёл в московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам ещё много, много замечательных творений; и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около восьми тысяч ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранятся в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР...» Таков был Горький. А сколько было ещё ненормальных! Цветаева с её непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в Советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и сатирический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Бло-

ка — тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем «тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость — редкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актёры, и первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов»; затем он продолжатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет к толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции...» В первую великую войну он устраивается на фронте чем-то вроде земгусара, приез-

жая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое — как там скучно, гадко, иногда уверяет её, что «всех жидов надо повесить»...

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из её петербургских дневников, а всё прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского журнал «Русский Современник», преследовавший, как сказано было в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно: «Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлечённые из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замы-

сел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы».

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Выходит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: заставили и надудли.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку...

Поверят ли читатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выпиываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали.

Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

* * *

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, — про апостола Петра, — «дурак Симон с отвисшей губой»), есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времён, началось ещё с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал то-

гда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей Собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шёл, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нёс на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело немало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда ещё молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным баринном, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а la мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте с глазами сплошь тёмными, нагло и мрачно вызывающими со сжатыми, извилистыми, жабьими губами... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при

большевиках — будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккачио в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы ещё тридцать лет тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, «народ-богоносец» Достоевского любителю на картинке в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причащаются», — едят кишки Христа, — изображён Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуёв советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был ещё Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабея и нашла, что «его творчество не равноценно: Бабель обладает интересным бытовым языком, без

натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть, кроме того, вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»... К сожалению, — говорила дальше газета, — хотя я не совсем понимал, о чём тут сожалеть? — «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, со своей стороны, вспоминал тогда ещё один рассказ Бабеля, с юмором говорилось, между прочим, о статуе Богородицы в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нём: тут гнусность, с которой было ска-

зано о грудях её, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается ещё некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменял его на какого-то Велимира, я иногда встречал ещё до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то при-творявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того, и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но всё же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нём. Вот что было в этом письме:

— Когда Хлебников умер, о нём в Москве

писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвящённом памяти Хлебникова, его друг П. читал о нём свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот, однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придёт, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянской и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлебников!» — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — «мистическое число 317».

Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тотчас повёл его за город в степь, а в степи стал говорить, что ему удалось снестись со всеми 317-ю Председателями, что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом по-

брёл в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашёл Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашёл себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгод-

НЫМИ:

Нет житья от господ!
Одолели, одолели!
Нас заели
Знатных старух,
Стариков со звездой
Нагишом бы погнать,
Все господское стадо,
Что украинский скот,
Толстых, седых,
Молодых и худых,
Нагишом бы все снять
И сановное стадо
И сановную знать
Голяком бы погнать,
Чтобы бич бы свистал,
В звёздах гром громыхал
Где пощада? Где пощада?!
В одной паре с быком
Стариков со звездой
Повести голяком
И погнать босиком,
Пастухи чтобы шли
Со взведённым курком.
Одолели! Одолели!
Околели! Околели!

И дальше — от лица прачки:

*Я бы на живодерню
На одной верёвке
Всех господ привела
Да потом по горлу
Провела, провела,
Я бельё моё всполосну, всполосну!
А потом господ
Полосну, полосну!
Крови лужица!
В глазах кружится!*

У Блока в «Двенадцати» тоже есть такое:

*Уж я времечко
Проведу, проведу...
Уж я темечко
Почешу, почешу...
Уж я ножичком
Полосну, полосну!*

Очень похоже на Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — режь попов, режь господ! Так писал, например, ещё Рылев:

*Первый нож — на бояр, на вель-
мож
Второй нож — на попов, на свя-
тош!*

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, в революционных призывах поэтов во время первой революции, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

*Встань! Карай врагов страны,
Как острый серп срезает колос!
Вперед! Туда, где шум и крик,
Где плещут красные знамена!
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит волна,
Всколосись в зелёной нови,
Возрождённая страна!*

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И ещё пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

*Народу русскому: я — грозный Ангел
Миценья!
Я в раны чёрные, в распаханную
новь
Кидая семена! Прошли века тер-*

*пенья,
И голос мой — набат! Хоругвь
моя как кровь!*

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким, — взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски:

*Сорвали мы корону
Со старого Кремля!
За заборами низкорослыми
Гребем мы огненными вёслами!*

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

*Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав!
Иисуса — на крест, а Варраву
Под руки — и по Тверскому!*

* * *

Я был в Петербурге в последний раз, — в последний раз в жизни! — в начале апреля 17-го года,[19] в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки

финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного Правительства, знаменитыми думскими депутатами и говорились финнам истерически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось всё то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безообразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми преобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошёл к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядел на него во всё глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы её, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковский.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то ещё, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развёл руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно

бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многооо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чувствовал, что полифемовское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам ещё великолепнее, чем сделал он один на пиру в честь Финляндии...

«Много!» Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспо-

минания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как и не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а всё-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, — не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишённом всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатого года я видел

князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближённых к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской Февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлён при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый ещё и как географ, путешественник и исследователь Восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь — и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почётом и всяческими заботами о нём, он, революцио-

нер, — хотя и весьма мирный, — возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью Февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьём-то, уже не помню в чьём именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец этого года — что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»! Дальше было вот что.

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свидания с Лениным: в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шёл тогда в России, и наконец, добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с од-

ним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, всё-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и говорил о своём свидании с ним, разводя руками:

— Я понял, что убеждать этого человека в чём бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогав-

шую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, — только напрасно истратил несколько месяцев, — месяцев! — на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике»...

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грёзы об анархическом рае, — это среди нас-то, существ, ещё не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! — и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, среди наконец-то осуществившейся революции, над рукописью о человеческой этике.

Волошин

Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нём, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно бы-

ло в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нём я прочёл в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я «не совсем верил» ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал всё его «зевсоподобие», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических lamentаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там

его не пожелали принять всерьёз...»

Я лично знал Волошина со времён довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьётся внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:

*Мысли с рыданиями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:
Титата, тотата, татата, титата...*

*Из страны, где солнца свет
Льётся с неба, жгуч и ярк,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет...*

Склоняясь ниц, оваян ночи синью,

*Доверчиво ишу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О мать-земля!*

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда знаменитым сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую чёрную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоив себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как

почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутолимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, — при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевицкого восстания, Горький крепко

сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из неё ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооружённых с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, ещё летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, — не то у Горького, не то у Скирмунта, — услышал я от него тогда тоже совсем новые для него песни:

*Народу русскому: я скорбный Ангел
Мщенья!*

*Я в раны чёрные, в распаханную
новь*

*Кидаю семена. Прошли века тер-
пенья,*

*И голос мой — набат! Хоругвь
моя, как кровь!*

Помню ещё встречу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нём что он, съезжаясь за границей с своей невестой назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, [что] очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведён в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для

других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в день Святого Духа.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь; сознательное бытие — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцать лет — Коктебель в Крыму, — самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трёх — Среднеазиатская пустыня — про-буждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретённая родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль

Адан, — Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырёх...»

В ту пору всюду читал он и другое своё прославленное стихотворение из времён французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

*Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне...*

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произ-

ведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, всё спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времён? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидел, что наружность

его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, тёплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уж истёрта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе, в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраи-

ваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлён, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегаёт за разрешением на от-

крытие этой школы, в пять минут написал для неё замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — еёшнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинается скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К

чёрту старых, обветшалых писаек! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!»

— Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперёд, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и всё говорит, говорит и всё на самые высокие и трагические темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, — да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, «в жизни самое главное — искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как надо это

сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник».

«В украшении чего? Собственной виселицы?»

— Всё-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая

сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать обещали, я был уже в редакции», Но напечатали только одно: «Волошин устранён из первомайской художественной комиссии». Пришёл к нам и горько жаловался: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У неё реквизирует себе помещение председатель Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она с Северным». Восхищался и им: «У Северного кристалльная душа, он многих спасает!» — «Приблизительно одного из ста убиваемых?» — «Всё же это очень чистый человек...» И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую

наивность рассказать мне ещё то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему од-нажды в руки крепко...

— Помогает Волошину пробраться в Крым ещё и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что её не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провёл у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было всё-таки грустно. Да и всё было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало

разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всём согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но всё больше и больше — и притом, с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивлённая, не понимающая в чём дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждём поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французскими миноносцами, болтались ночь без ветра, во время мёртвой зыби, были обстреляны пулеметным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло ещё одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни всё почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкие знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до «командарма», который меня привёз в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его «Кагул», со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвинённого в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевицкие.

Кстати: первое издание «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевицким «Центрагом», а теперь ростовский (добровольческий) «Осваг» взял у меня

несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для «Южного слова» два прошлогодних, лирических, ещё нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: «Пути России» и «Самогон крови». Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле «Личины», стих. «Матрос», «Красногвардеец», «Спекулянт» и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я ещё до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех её партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нём.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вёл себя всё же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевических злодеяний. Тюрмы Чека были по всей России переполнены, — хватали кого попало,

во всех подозревая контрреволюционеров, — каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на тёмные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарём... Минуту работал пулемёт, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали землёй... Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

*Носят вёдрами спелые гроздья,
Валят ягоды в глубокий ров...
Ах, не гроздья носят, юношей го-
нят
К чёрному точилу, дают вино!*

Чего стоит одно это томное «ах!». Но он заливался ещё слаще:

*Вейте, вейте, снежные стихи,
Замечайте древние гроба!*

То есть: канун вам да ладан, милые юно-

ши, гонимые «к чёрному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь: ведь убийцы чекисты суть «снежные, древние стихии»:

*Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»*

*Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильне мало, —
Господи, вот плоть моя!*

Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «чёрное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытия», он часто читал мне стихи насчёт то «снежной», то «обугленной» России, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживлённое антропософическое

красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимилиан Александрович, оставьте всё это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае надобности.

1930

Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществую-

цим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'écrivain Maxime Gorki est decede... Alexis Pechkoff connu en litterature sous le nom Gorki, etait ne en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille du cosaques...[20]

Ещё одна легенда о нём. Босьяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для её носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о

том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лёг там» а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поварёнком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из повара попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет

возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свёл знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В своё время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своём месте и ушёл бродить по югу России...» В 82-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потяги-

вал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!»» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пилляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нём; в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошёл вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горь-

ким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, — иду как-то по набережной и вижу: навстречу идёт с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и всё время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот такая шляпа, и дубинка. Под крылаткой жёлтая шёлковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шёлковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и жёлтыми усиками, которые он, покашливая, всё поглаживает большими пальцами: немножко поплюёт на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в её мундштук слюны, чтобы

загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и всё образами и всё с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький всё говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную ули-

цу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребёнком на руках, потом кусок шёлка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутиливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то всё время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и всё одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с лёгкостью вызывая даже слёзы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была

та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал всё что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромн и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить ещё тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать её всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то са-

моунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал её, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказало у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хва-

тал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъёма русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла ещё страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он всё менялся и менялся и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для художественного театра, артистке Книппер делал на своих

книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплёл бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливица все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался всё угловатее, всё неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безраз-

личием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица, и упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляя в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Всё молодое уже исчезло в нём — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору: подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик

из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, — так покраснела, что у неё слезы из глаз выступили:

— Вот Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на неё.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже

стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, — больше всего из-за марки «Знания», — тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на всё хватает: изо дня в день на людях, — то у него сбо-

рище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полу-интеллигент, начётчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал её в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил он и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведёрко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала

мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936

Маяковский

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства, по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счёт, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актёрства, с гомерической лживостью и беспримерной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью от-

платила Маяковскому за все его восхваления её, за всякую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесён в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского воплотилось в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие *долгие* дела. Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начертано на броне трёх танков. Один из них дошёл до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станции метро, переулок, библиотека, музеи, район в Грузии, село в Армении, посёлок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсе-

го один-единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта».) Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намёком на что-то даже очень возвышенное:

*Твой выстрел был подобен
Этне в предгорье трусов и трусих!*

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь её действию, — обвалу, извержению... Но поелику Пастернак считается в советской России да многими и в эмиграции тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот ещё один пример тому из его стихов:

*Поэзия, я буду клясться
тобой и кончу, прохрипев:
ты не осанка сладкогласца,
ты лето с местом в третьем
классе,
ты пригород, а не припев.*

Маяковский прославился в некоторой степени ещё до Ленина, выделился среди всех

тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешёвы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая жёлтая кофта и дикарская раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних друзей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешиться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силён на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рёва, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

— Желаящие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну

приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушёл в баню»...

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на неё, только покачал бы головой и пошёл дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак наби-тый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука всё-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция всё-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревёт над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нём цилиндр, чёр-

ное пальто, чёрные перчатки, в руках трость чёрного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький, незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещённой гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайших гений всех времён и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим худож-

ником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: ораторь, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня: твердо сказал на каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в её статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие партийные организа-

ции? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрики требовалось всё наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать всё прошлое, всё, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, — словом как раз всё то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить всё то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и её главарями, свою преданность им

и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени всё то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он наливал звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своём путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в Арагву; он любил слова ещё более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя публикой осоплено, над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

*Мамаша
грудь
ребёнку дала.
Ребёнок,
с каплями на носу,
сосёт
как будто
не грудь, а доллар —
занят серьезным бизнесом.*

Он любил слова «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

*Бумаги
гладь
облёвывает
пером,
концом губы поэт,
как блядь рублёвая.*

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, — Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Жёлтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

*Пока
доллар
всех поэм родовей,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надев, Бродвей:
капитал —
его препохабие!*

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я

недавно прочёл об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!»

С какой же силой, с какой он устранил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

*Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм...
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел:
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.*

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих виршей? Об этом можно было

прочсть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной Думы Крылов, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский Староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шёлковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще свершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба вовеки не

видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колена в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его соподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошёл в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

*Юноше, обдумывающему житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай её
с товарища Дзержинского!*

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдаёт свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, — лично их:

*Партия и Ленин —
кто более
матери истории ценен?*

*Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.*

*С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал доклады Сталин.*

И вот слава его, как великого поэта, всё растёт и растёт, поэтические творения его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строчку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гнусные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нём довольно долгое пребывание, заказывал бельё и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплеывал» и в Париже, —

заявил с томной брезгливостью пресыщенно-го пшюта:

*Я не люблю
парижскую любовь —
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав «тубо»
собакам озверевшей страсти.*

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда ещё в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далёкое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новоселье» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о Полку Игореве», — он, русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшим в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарпортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

«Третий Толстой»

«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе ещё два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времён царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нём редкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, [21] безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделённой к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с дру-

гом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но ещё и тем, что был он всё-таки граф, да ещё Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком-то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

Последние слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нём, часто поминали его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алёшей, и почти

все набавлялись им: он был весёлый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхижительный в своей откровенности циник; был наделён немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, всё русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вёл он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алёшкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и всё-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алёшки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротнo, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, всё меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь

«салоне», сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякал, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, — например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии, и детство провёл в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точ-

но он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские белогвардейцы.

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи — и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед

Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой — и «масса» вопросов, да ещё «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов. А тут явились ещё и новые, а кроме того, и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать ещё что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: «Это был самый тяжёлый период в моей жизни...» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошёл в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов

и расправ... Он писал на родине ещё и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский...»

Где всё это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был всё-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался, и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают её в тюремный

лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж всё ещё существует, не вымер, несмотря на своё «предсмертное» веселье во времена пребывания в нём Толстого, и дошёл в наши дни даже до гомерического разврата в веселье и роскоши: так по крайней мере утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напوماженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета». Когда-то в России говорили: «Врёт как сивый мерин». Далекие наивные времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражнения «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто оч-

ков даёт вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революции» и первой мировой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он растерялся и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актёрским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ли ни рыдал Горький.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рос-

лый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринуждённостью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочёл его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нём ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род,

то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я её читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хожение по мукам», начатый печатанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заяд-

лыми «красными». Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуны, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»... Что такое его «Сатирические картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»:

«Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий

ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...»

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанёс нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц,[22] как называли её все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу.

— Очень рад возобновлению нашего зна-

комства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделённый чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трёх следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, её мех весь в гнусных лысынах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгод-

но одеваются вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук, в талию, рубашки голландского полотна с таким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом чёрного шёлка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую жёлтую кофту, Андреев и Шалапин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квар-

тиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, чёрных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, всё фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так с самого начала захвата большевиками власти в октябре семнадцатого года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся, и мы поругались. А затем появи-

лось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нём лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

И ещё так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для Блока всё-таки определи-

лись вскоре цвет и запах нового шквала, хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской истории кончился (при доброй помощи солдат петербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, — сумму в то время ещё значительную, — стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешёл к большевикам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллиген-

ция и Революция», стал требовать: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочинил «Двенадцать», написав и своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошёл и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом слышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

— Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую всё ещё называют совер-

шенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чём не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слёз вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень; солдаты, всё ещё бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, ещё в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, всё ещё продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают всё, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии[23] и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу,

хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажёл скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал ещё бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушёл от неё. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный Н., — я назвал точно его фамилию, — и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьём сожгли в паровозной топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас:

«Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и Революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в

Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целые столетия водкой торговал, икая». Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, всё сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опощлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманых символических, мистических стихов, он написал наконец нечто уж слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днём на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в

конце концов все её деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди неё идёт Сам Христос, что это Его апостолы:

*Товарищ, винтовку держи не
трусь!*

*Пальнем-ка пулей в Святую Русь,
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!*

Почему Святая Русь оказалась у Блока избяной да ещё и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

*От здания к зданию
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Со-
бранию!»
А вот и он долгополый —
Что нынче невесёлый,
Товарищ поп?
Вон барыня в каракуле —
Поскользнулась
И — бац — растянулась!*

«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И всё это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием всё одного и того же разнообразия, надоедает несметным ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, трата-та, трахтахтах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное:

*Буржуй на перекрёстке
В воротник упрятал нос...
Стоит буржуй, как пёс голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,*

*И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...
Свобода, свобода,
Ээ, эх, без креста!
Тратата!
А Ванька с Катькой в кабаке,
У ей керенки есть в чулке!
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй поцелуй!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?
Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Електрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!*

Это ли не народный язык? «Електрический»! Попробуй-ка произнести! И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, — «оглобелки», — очевидно, тоже народная. А дальше нечто ещё более народное:

*Ах ты Катя, моя Катя,
Толстоморденькая!
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерём гулять ходила,
С солдатём теперь пошла?*

История с этой Катькой кончается убийством её и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

*Опять навстречу несётся вскачь,
Летит, вопит, орёт лихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай,
Петруха, сзади забегай!
Трахтахтахтах!
Что, Катька, рада? — Ни гугу!
Лежи ты, падаль, на снегу!
Эх, ах.
Позабавиться не грех!
Ты лети, буржуй, воробышком,
Выпью кровушку
За зазнобушку.
Чернобровушку!
И опять идут двенадцать,
За плечами ружьеца,
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица!*

Бедный убийца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, — ведь уж так все-

гда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

*Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил.
Ночки чёрные, хмельные,
С этой девкой проводил!*

«Ты лети, буржуй, воробышком», — опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, — а дальше коровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные — от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

*Из-за удали бедовой
В огневых её очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый
Загубил я сгоряча...
Ах!*

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катеньки с «бедовой удалью её огневых очей». По-

моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и «пунцовая родинка», — ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматъей, сказал я в заключение. Увлёкшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понёс что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пёс — опять пёс! — и патологическое кощунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

*Так идут державным шагом —
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —*

Впереди — Иисус Христос!

Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привёл в Кухню Ведьм:

*Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!*

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, — большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противоречивых любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного платка до бровей»! Но вот наконец весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом «с раско-

сыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от её имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги»), и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

*Мильоны — вас. Нас — тьмы, и
тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы мы! Да, азиаты — мы
С раскосыми и жадными очами!*

*Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перла,
И вы, глумясь, считали только
срок,
Когда наставит пушек жерла!*

*Да, так любить, как любит наша
кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть лю-
бовь,
Которая и жжет и губит.*

*Мы любим плоть — и вкус её, и
цвет,
И душный, смертный, плоти за-
пах...
Виновны ль мы, коль хрустнет
ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших ла-
пах?*

*Привыкли мы, хватая под узцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжёлые крест-
цы
И усмирять рабынь стропти-
вых...*

В этих комических угрозах, в этой литера-
турщине, которой я привожу лишь часть,
есть, конечно, совсем непонятное, что значит,
например, «копя и плавя наши перла»? Всё
остальное что ни слово, то золото: тьмы азиа-
тов, раскосые и жадные очи, вкус и смертный
запах плоти, тяжёлые, нежные лапы, хрустя-
щие людские скелеты и даже ломаемые кон-
ские крестцы, хотя ломать их за игривость ко-
пей есть дело не только злое и глупое, но и со-
вершенно невозможное физически, так что

уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» — грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время создания «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за всё существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая её от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, — «Попробуйте сразиться с нами!» — удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно:[24] за год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революци-

онные брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станции Орша, за которой находились области оккупированные), и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем за чем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, — навсегда, как оказалось, — и какое это было всё-таки ужасное путешествие! Поезд шёл с вооруженной охраной, — на случай нападения на него последних удиравших с фронта скифов — по ночам проходил в темноте и весь затемнённый станции, и что только было на вокзалах этих, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революции»!

В тот год власть большевиков простиралась ещё на небольшую часть России, всё остальное было или свободно или занято немцами, австрийцами, и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В

тот год ужё шло великое бегство из Велико-россии людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста — всякий, кто мог, бежал в ещё свободную и неголодающую Россию. И вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одес-су его вторая жена, поэтесса Наташа Кранди-евская, с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чём ни бывало и кричал уже с полной искренно-стью и с такой запальчивостью, какой я ещё и не знал в нём:

— Вы не поверите, — кричал он, — до че-го я счастлив, что удрал наконец от этих него-дьяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлич-но понимали, что орал я на вас на этом собра-нии по поводу идиотских «Двенадцати» и по-том всё время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как мож-но удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой бу-дем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскоти-нел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, та-кие речи хороших, бородатых мужиков на-

счёт не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберёмся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе всё-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, — Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, — но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать её, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болга-

рию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть ли не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией.[25]

Почему мы не погибли в Чёрном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, тёмным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков,[26] грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Чёрного моря, и, если бы, случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заме-

нивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта ещё недавно была убежи-

цем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжёлый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерпено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоём. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашён редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и всё, всё в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчётом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были ещё такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажимать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18–20.[27] Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты

Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась всё более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять своё собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но

это мало, мы должны ещё и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстым. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живём мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги чёрт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

— В какой суматохе?

— Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек,

считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться всё же было надо, и он ловчился; приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков своё несуществующее в России имение, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вы-

шла: я всё им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде;

«У нас нынче буйабез от Прюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придёт. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете в нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошёл год, прошёл другой, денег не хватало всё чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, — зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал ещё в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, — иней опустил всю её беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражён был её юной прелестью, её девичьей красотой и восхищён талантливостью её стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но всё-таки почему-то совсем бросила ещё в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут

умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой ещё не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живёте? Живём мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тительные» денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил ро-

ман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дёшево, в Париж можно наезжать. Подумай, напиши..»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстым. И однажды вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — Боже, здесь всё иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже

ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — всё чёрное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь вовсю идёт издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определённые планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить и Берлине вдвоем в лучшем панси-

оне, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чём не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжёлое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается всё, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тринадцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка:

«Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда ещё и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

* * *

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нём, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издали увидел меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? *А. Толстой*». Я встал и прошёл в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шёл навстречу мне и как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор ещё на ходу:

Страшно рад видеть тебя и спешу тебе ска-

зять, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришёл в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей по-

следней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949

Гегель, фрак, метель

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата её большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весной 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, — я в ту нору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии, — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, оципали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда по-

пало с отчаянными воплями, и получил на этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилom и пониманием уголовного хроникёра, оплакивать ваших павлинов — мещанство, обывательщина, Гегель недаром учил о разумности всего действительного!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне всё-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Всё это время я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 г.) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма оципанными

павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, всё было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над нами, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, ещё более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны

и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда ещё очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу Одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Чёрном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы

оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвету — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса,[28] человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в её, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой —

и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось всё наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благодарно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по тёмной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, уж не помню, кто именно, принёс нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась ка-

кая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как называл ее болгарский сыщик, посланный арестовать и её, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запас-

ных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербь помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие ещё были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошёл к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — заменить не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Всё же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить ещё девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо стоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной,[29] касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

* * *

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника[30] (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имени которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на

рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь; вхожу, а он, весь трясясь, выгребает её пальцами из баночки и жрёт.

— На днях один из жильцов нашего дома пошёл к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. Скажите, пожалуйста, который час? Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушёл. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталия Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала к нам Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле

неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную верёвками, на которой сидел её мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень известный учёный, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населённом мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живёт какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но ни-

кто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тёпел, весь в застёжках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться с своим баринном», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с жёлтым и опухшим от голода лицом. Всё плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, прося устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушёл с этим мешком на вокзал, на прощание поймал и несколько раз поцеловал

мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит о себе: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», чёрные лайковые перчатки, застёгнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию «Русь», листов сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, всё говорил: гармонь бы мне...

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, квартирует в избе Красовых,

метёт и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж её теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовом Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин.[31] Когда-то у него было небольшое имение которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения о нём:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живёт в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несёт в метель снегом... Живёт тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить

себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имущества ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

*Древний образ в чёрной раке,
Перед ней подлец во фраке,
В лентах, в звёздах, в орденах...*

Когда «шквал» пришёл, фрак достался Ваське Жохову, изображённого моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звёзд, орденов Васька тогда ещё не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды зачем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич,[32] умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещён был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Мария Алексеевна[33] умерла при большеви-

как от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населён, как всюду, мужицкими семьями, жизнь в нём теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох...

А затем пришло ужё такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берёз на валах, ни твоего любимого старого клена...

* * *

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило

обманывает мужа, Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привёёл? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его лите-

ратурном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».

Стихотворения

[Текст отсутствует]

Миссия русской эмиграции

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года)

Сотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты, — слово «émigrer» к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толко-

вых словарях сказано; «миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представляем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель — твердо сказать; подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками)

нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, ни-

зость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облаченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, — были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против

московских убийц. Однако это не все: русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне сознательно и действительно против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязающего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими смертями запечатлели свое противоборство — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и представлять? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который под-

нес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские «внутренние дела», то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что узаконяет этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: «Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же от того не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак — народы... И лицо поколения будет собачье...» Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбеж-

на, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя пол-

ным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно — кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как не безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума, — сам министр — президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано, — только зарегистрировано! — десять тысяч зверских и бессмысленных народных «самосудов». А что было затем? Было

величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшегося с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить «Семь заповедей Ленина». И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самые Святая святых своей родины, в место страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои «заветные чаяния» за счет соседа, зарезанно-

го им из-за полдесятины лишней «земельки»? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры». Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампы погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жаждой корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморе. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют. Содом и Гомора ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все вы-

ше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гомору, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников «новой» жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устройства человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна; повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до време-

ни по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут:

«Умер новый бог, создатель Нового Мира,

Демидург!» Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

*Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...*

И если все это соединить в одно — и эту матерщину и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высывающийся язык и его красный гроб и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демидурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу; ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев, — так всегда бывало. «Се Аз встану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...» И на Содом и Гомору, на все эти Ленин-

грады падает огонь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, — это наше право и даже наш долг, — и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. «Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батюя, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие

вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие па-
ли, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи.
Но все равно: останутся и такие, что не сда-
дутся никогда. И пребудут в верности запове-
дям Синайским и Галилейским, а не плане-
тарной матерщине, хотя бы и одобренной са-
мым Макдональдом. Пребудут в любви к Рос-
сии Сергия Преподобного, а не той, что распе-
вала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!» и будто бы
мистически пылала во имя какого-то будуще-
го, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли
оставить эту бессердечную и жульническую
игру словами, эту политическую риторику,
эти литературные пошлости? Не велика ра-
дость пылать в сыпном тифу или под поще-
чинами чекиста! Целые города рыдали и це-
ловали землю, когда их освобождали от этого
пылания. «Народ не принял белых...» Что же,
если это так, то это только лишнее доказа-
тельство глубокого падения народа. Но, слава
Богу, это не совсем так: не принимали хули-
ган, да жадная гадина, боявшаяся, что у нее
отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к
ней? Один из недавних русских беженцев

рассказывает, между прочим, в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам; лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, да святится во веки его память! Под триумфальными вратами гальской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом неизвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но

знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы. Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для несправедливого времени сего, и для будущих справедливых путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекись от Господа!» Верный еврей ни для каких благ не отступит от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит орду».

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный» мир с нынеш-

ней ордой.

Париж, 29 марта 1924 г.

Ив. Бунин

Примечания

Исаак Сирин (Сирянин) — отец церкви VII в., род. в Ниневии. Сохранилось в арабском переводе 133 поучения.

[^^^]

2

31 мая 1931 г. прах Гоголя был перенесён на Новодевичье кладбище.

[^^^]

3

Божья Матерь Заступница (*франц.*).

[^^^]

долой войну! (*франц.*).

[^^^]

5

Господи, помилуй нас! — Иисус Христос, помилуй нас! (*франц.*).

[^^^]

6

Прошения молитвенные к Божьей Матери Заступнице (*франц.*).

[^^^]

7

Отче небесный, сущий Боже, услыши нас...
Господин министр, слушайте меня (*франц.*).

[^^^]

Дух святой, сущий Бог, помилуй нас! — Пресвятая Мария, пречистая в зачатии Твоем, моли о нас! (*франц.*).

[^^^]

Пресвятая Мария, вознесением прославленная, моли о нас! — Пресвятая Мария, архангелом Гавриилом приветствуемая, моли о нас!
(франц.).

[^^^]

Благодатная Владычице, моли о нас! — Божья Мать Заступница, Царица и Покровительница Марсея, моли о нас! (*франц.*).

[^^^]

Это очень хорошо! (*франц.*).

[^^^]

О, да! (*франц.*).

[^^^]

наша колыбель и наша могила... *(франц.)*.

[^^^]

На помощь!

[^^^]

Гастон, Гастон! Не уходи, Гастон! Я тебя умоляю, Гастон! Я тебя умоляю... А-а! Да что вы, господин, вы с ума сошли! Оставьте меня! Да отпустите же меня, ну! Вы мне делаете больно, грубиян! Я опоздаю на поезд, если вы не оставите меня! Отпустите! Да отпустите же меня, наконец! А-а! У меня голова раскалывается. Убирайтесь, это наше дело! Это я тебя ударила, Гастон, жизнь моя, любовь моя! Вы не имеете права тащить меня так! Все вы животные! Грязные животные! Ах, нет, нет! Я же сильная, я очень сильная! На помо-ощь!

[^^^]

Кедрин Д. Б. (1907–1945).

[^^^]

Дон Аминадо (псевд., наст. фамилия — Аминад Петрович Шполянский, 1888–1957) — поэт, юморист и сатирик.

[^^^]

Федоров А. М. (1868–1949) — поэт, беллетрист, драматург. Эмигрировал из Одессы перед окончательным занятием её большевиками. Жил в Болгарии. Друг Бунина.

[^^^]

Бунин приехал в Петроград 2 апреля 1917 г.

[^^^]

Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье... (*франц.*).

[^^^]

Весной 1923 г.

[^^^]

Речь идет о второй жене А. Н. Толстого С. И. Дымшиц.

[^^^]

Речь идет об имении Васильевском, которое принадлежало Софии Николаевне Пушечниковой, двоюродной сестре И. А. Бунина.

[^^^]

24

23 мая (по старому стилю) 1918 г.

[^^^]

И. А. Бунин и его жена В. Н. Муромцева-Бунина уехали из Одессы 26 января 1920 г.

[^^^]

Кондаков Н. П. (1844–1925) — историк искусства, академик.

[^^^]

Речь идет о первой части «Хождения по мукам» («Сестры»), появившейся в I–IV книгах парижского журнала «Современные записки» (1920–1921).

[^^^]

Петр Яковлевич Рысс (?-1948) — журналист, принадлежал к Партии Народной свободы. Умер в Париже.

[^^^]

Мария Самойловна Цетлина (1882–1977).

[^^^]

Николай Алексеевич Пушечников
(1882–1939), любимый племянник И. А. Бунина, переводчик Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона; в своём, до сих пор полностью неопубликованном, дневнике оставил крайне интересные и ценные воспоминания о Бунине.

[^^^]

Евгений Алексеевич Бунин (1858–1935) — брат писателя. Детство и юность провёл с родителями на хуторах Орловской и Тульской губернии, гимназию не закончил. По воспоминаниям В. Н. Муромцевой-Буниной. Е. Бунин «погубил свой недюжинный талант художника-портретиста».

[^^^]

Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921) — играл большую роль в жизни писателя. Всесторонне образованный (закончил два факультета) и одарённый, он помог И. Бунину заполнить пробелы образования (И. Бунин оставил гимназию в Ельце с четвёртого класса). В дальнейшем Ю. Бунин имел влияние на брата и был для него своего рода авторитетом. И. Бунин очень переживал его смерть.

[^^^]

Мария Алексеевна Бунина, по мужу Ласкар-
жевская (1873–1930).

[^^^]